

18+

Евгений Анташкевич



Хроника одного полка. 1915 год

В седле

Евгений Анташкевич

**Хроника одного полка.
1915 год. В седле**

«Издательские решения»

Анташкевич Е.

Хроника одного полка. 1915 год. В седле / Е. Анташкевич —
«Издательские решения»,

ISBN 978-5-00-539488-0

Сюжет романа разворачивается в 1915 году. События невероятно увлекательного и исторически достоверного романа происходят не только на фронте, «в седле и окопах», но и в охваченной волной немецких погромов Москве, в тыловых Твери и Симбирске, в далеком таежном селе «на Байкал-море». Боевые эпизоды, судьбы отдельных солдат, офицеров, сестер милосердия и целых семей органично складываются в полномасштабную картину великой страны в один из самых драматичных периодов русской и мировой истории.

ISBN 978-5-00-539488-0

© Анташкевич Е.
© Издательские решения

Содержание

Январь	6
Письма и документы	21
Л. Троцкий	24
Февраль	27
Письма и документы	57
Март	59
Апрель	64
Конец ознакомительного фрагмента.	66

Хроника одного полка. 1915 год В седле

Евгений Анташкевич

*Посвящается сыновьям, внукам и правнукам
Михаила Тихоновича Анташкевича*

© Евгений Анташкевич, 2022

ISBN 978-5-0053-9488-0

Создано в интеллектуальной издательской системе Ridero

Конница такова, каков её командир.

Кавалерийская истина

Январь

– Кавалерии не требуется снарядов! Коня снарядом не зарядишь, а если и зарядишь, так его надо развернуть к противнику... сами понимаете, каким местом!

– Согласны, граф, и выстрел получится смешным!..

– Особенно для противника!

– Поумирают со смеху, глядячи!..

Офицеры сдерживали улыбки.

– Однако, ваше сиятельство, снаряды для артиллерии недурно поддержали бы нас, кавалерию!

– Особенно ежели прежде атаки, да солидным залпом!

– Или по встречной атаке противника...

– Ладно, господа, «илиили» это всё пустое, на нет и суда нет, снаряды не наша забота. Все свободны, и так уже задерживаемся на целый час. Война войной, а обед...

Офицеры заулыбались.

– Надо поторопиться, господа, нам тоже негоже опаздывать к службе. Нижние чины?..

– Построены и ждут!

– Батюшка?

– Отец Илларион уже раздул кадило...

– Жалко, что ушли кремнёвые времена, сейчас бы поставить его рядом с казённой частью...

– Тогда это будет уже не Крещение Господне, ваше сиятельство, а наказание...

– Для кого как, господа, для кого как! Вас, Аркадий Иванович, попрошу остаться! После службы господ офицеров прошу к обеду, а нам надо закончить бумаги! – сказал командир полка своему заместителю, командиру №1-го эскадрона Аркадию Ивановичу Вяземскому. – Да, – он обратился к полковому адъютанту поручику Щербакову, – Николай Николаевич!

– Слушаю, ваше сиятельство!

– Заплатите старосте нужную сумму, чтобы обеспечить для нас на неделю фураж, сколько ещё тут простоим...

– Будет исполнено!

– И вы, Василий Карлович, на службе долго не задерживайтесь, батюшка нас поймёт!.. – обратился он к командиру №2-го эскадрона.

– А не поймёт, так останется голодным, – с усмешкой ответил командир №2-го эскадрона Василий Карлович, барон фон Мекк, и вышел вслед за офицерами.

По случаю Крещения Господня полк был построен на выгоне польского села Могилевицы. Нижние чины и унтерофицеры стояли без головных уборов. Напротив каждого эскадрона из больших чанов церковники поочерёдно наливали драгунам святую воду.

Во вчерашнем бою с прусскими уланами полк потерял четырнадцать человек убитыми, среди них корнет Меликов и вахмистр №2-го эскадрона Сомов, а также четверых тяжелоранеными. Сейчас в №2 эскадроне вместо вахмистра Сомова отцу Иллариону прислуживал унтерофицер Четвертаков, относительно которого командир эскадрона ротмистр фон Мекк только что написал представление на повышение в чине. Убитых отец Илларион уже отпел, их тела в гробах лежали внутри обширной риги на северной окраине села.

– ...и оста́ви нам до́лги наша, яко же и мы оставляем... – пел отец Илларион против №2-го эскадрона, махал кадилом и крестился на полковую хоругвь.

– ...и оста́ви нам до́лги наша, яко же и мы оставляем... – вторили драгуны №2-го эскадрона. Они по одному подходили к чану и подставляли под серебряный ковшик фляжки, туда

осторожно, тонкой струйкой, которой играл ветерок, наливал воду, чтобы не расплескать, унтер Четвертаков. Он уже знал, что на него написано представление на повышение через чин, небывалый случай, и так старался, что было видно, как по его лбу на брови и по щекам течёт пот.

Две недели – неделю до Нового года и неделю после – на СевероЗападном фронте не было больших событий, войска двигались, маневрировали, вчерашняя стычка, казалось, была случайной, когда на опушке в нескольких верстах западнее деревни, будучи в охране, №2 эскадрон столкнулся с неприятельской разведкой.

Эскадрон спешил и залёг, германцы не разобрались и развёрнутым строем по снегу пошли в атаку, их лошади увязли, и германцы были расстреляны. А через несколько минут обширную поляну перед опушкой, где ещё вчера стояли на отдыхе несколько пехотных батальонов, накрыла германская тяжёлая артиллерия, поэтому, когда корнет Меликов и вахмистр Сомов пошли осматривать поле боя, на эскадрон упали четыре бомбы – германская гаубичная батарея сделала залп.

Несмотря на уничтожение вражеской разведки, такие потери были большой неприятностью для полка. Ещё было удивительно, зачем германцы стреляли по уже опустевшему полю. В пылу неожиданного боя никто не заметил, что над полем дал два круга германский аэроплан.

Унтерофицера Четвертакова в эскадроне звали Тайга. Вполне оправданно, потому что он единственный в полку призывался с далёкого, у чёрта на куличках, Байкала, о котором сам Четвертаков говорил с уважением и называл его «море» или «батюшка», а его сослуживцы только слышали, да и то не все, и усмехались: «Тайга-то у нас вона из какой глуши». А он не соглашался, до его «глуши», деревни под названием Лиственничная, или Листвянка, уже дотянулась Великая Сибирская железная дорога, или по старинке «чугунка», и он с гордостью рассказывал, что «ездил на паровозе». Однако для его сослуживцев паровоз совсем не новость – эскадрон, как и почти весь полк, набрали из тверичей, родившихся и живших по обочинам первой российской железной дороги, построенной аж полвека назад императором Николаем I. Поэтому Тайгой они прозвали Кешку Четвертакова уверенно и нисколько не сомневались в своей правоте. И уважали его как «первеющего храбреца» и умелого стрелка.

Кешка наливал в очередную фляжку, когда раздалась команда «Глаза направо!» и у хоругви против №1 эскадрона слез с белого арабчика командир полка полковник Константин Фёдорович граф Рёзен. Он перекрестился на полковой алтарь, на хоругвь и повернулся к строю, вслед за ним подошёл командир №1 эскадрона подполковник Аркадий Иванович Вяземский.

– Да, господа, Крещение, а морозов... – Полковник поджал губы. – Поручик, посмотрите, сколько сейчас, только на улице... У вас ведь имеется термометр.

Поручик Рейнгардт, командир 1го взвода №2-го эскадрона, накинул на плечи шинель и вышел.

– А что, отец Илларион, не оправдывается примета о крещенских морозах? – Полковник сидел в центре большого стола, рядом с ним стояла восьмилинейная немецкая керосиновая лампа с начищенным медным отражателем, яркие лучи от лампы заливали большую светёлку.

Отец Илларион промолчал, и замолчали в полголоса беседовавшие между собой офицеры, сидевшие вокруг стола и на лавках вдоль стен. Все посмотрели на отца Иллариона. «Я же священник, а не климатолог, что я им скажу?» – подумал отец Илларион, но ответил:

– Так это, господа, по *нашему* календарю, по *православному* – Крещение, а по ихнему, григорианскому, так оно уж и прошло... – Он не закончил, отворилась дверь, и с градусником вернулся поручик Рейнгардт.

– Минус два по Реомюру, господа, я воткнул градусник прямо в снег.

Офицеры зашевелились, сведения, которые принёс поручик, были, конечно, важные, но сказать на это было нечего. Они стали двигаться на лавках, усаживаясь ещё удобнее, хотя они производили эти движения регулярно последние минут двадцать в ожидании обеда. В других полках, где раньше служили некоторые офицеры, обедали у командира полка, в полковом собрании, однако здесь существовало другое правило. Граф Розен начал службу во время русско-турецкой войны, и в его полку, куда он поступил корнетом, командир был старый и грузный, чемто напоминавший фельдмаршала Кутузова, но ни разу не раненный в голову. По старости лет он не любил шума и суеты и завёл правило, что офицеры обедают у командира №1-го эскадрона, а сам всегда занимал самую неказистую и неприметную избу на любой стоянке в любом походе. Розен не изменил этому правилу, но сейчас в его полку обедали у командира №2-го эскадрона. В октябре прошлого года, перед самой Лодзинской операцией, прибывший в полк на №1 эскадрон из кавалергардов ротмистр гвардии Аркадий Иванович Вяземский намекнул, что первое время ему хотелось бы быть гостем и совсем никак – хозяином. Командир №2-го эскадрона ротмистр фон Мекк был рад такому решению.

– Ну вот, – сказал Розен, – я же говорил, что Крещение, а никаких крещенских морозов... – Он будто бы не расслышал того, что сказал отец Илларион. – Клешня! – позвал Розен.

Из сеней высунулось лицо денщика.

– Что там с обедом, наконец! Заставляете ждать, сукины дети!

– Сию минуту, ваше высокоблагородие, первое уже почти готово, говядинка жестковата, надобно ей провариться, а закуски через секунду будут поданы.

– И вот ещё что, – сказал ему полковник, – пусть приведут пленного! Вы не против, господа?

Офицеры закивали, они были не против, это был первый пленный их полка. До этого тоже были пленные, много, но полк наступал, и пленные оставались в тылу. Сейчас полк стоял.

– А то негоже, господа, как я думаю, хотя и унтерофицер, полковой писарь, мы же не допрашивать его будем, в конце концов... А стакан пунша ему налить! Пусть даже не крещенский мороз, чтобы до утра не замёрз.

– Я уже дал команду, господин полковник. – Это сказал вошедший за Клешней командир №1-го эскадрона Вяземский: – Сейчас его приведут, он со вчерашнего дня пытается нам что-то сказать.

Клешня согнулся, он был одет в солдатскую рубаху и штаны, на погонах был витой кант добровольца, однако по повадке ни дать ни взять половой из какого-нибудь московского или тверского кабака.

– Только полотенца на локте не хватает, – шепнул один офицер другому, именно шепнул, хотя все офицеры полка держались одного мнения, и не зря – вольноопределяющийся Сашка Павлинов был москвич по рождению и действительно подавальщик из трактира Тестова, что на углу площадей Театральная и Воскресенская, в ста шагах от Красной площади. По своему охотному желанию он был взят на службу в драгуны, но был выписан из строя, потому что или ростом оказался слишком высок, или имел неправильное строение скелета и сбил холки трём строевым лошадям. Писарь донёс командиру, что Павлинов по этому поводу горюет и что он московский половой, и полковник предложил ему место денщика. Это было вовремя, потому что прежнего денщика ранило шальной пулей, и он был отправлен на лечение в тыл. Прослужив три дня у полковника, Сашка ощутил себя хотя и не героем, каким хотел стать, но на месте. Ему было стыдно за испорченных боевых коней, но и собственного копчика тоже было жалко.

Гробы с погибшими сгрудили к стенке риги, и №2 эскадрон занял её. Пленному германцу отвели угол. До взводного Четвертакова довели приказ доставить пленного к командиру. Четвертаков подозвал ближнего драгуна и дослал патрон в патронник. Германец сидел в своём углу, он сверху накинул шинель, а под себя нагрёб сено. «Ох и зажрут его», – подумал Четвертаков про пленного германца и блох, которые наверняка уже нацелились на свою жертву.

– Вставай, немчура, иди за мной! – махнул он рукой и повернулся к воротам риги.

– Ja, gut, natürlich! MarschMarsch! – обрадовался пленный, вскочил, стряхнул сено и стал надевать в рукава шинель. Он был высокий, крепкий, с ясными глазами и чистым лицом, румяным, как у девицы с мороза. – Ich möchte Ihnen sagen, Ihr Kommandant...

Четвертаков оглянулся на слова пленного, а потом посмотрел на шедшего рядом драгуна и спросил:

– Понимаешь, чего он балабонит?

Драгун хмыкнул и сплюнул:

– Куды нам?

– Вот и я думаю! – Четвертаков повернулся к пленному: – Погодь, не балабонь, ща доставлю тебя куда надо, там всё и обскажешь!

– Ja, gut! MarschMarsch! – сообщил пленный и стал похлопывать себя по плечам.

– Уу! Немчура! – притворно замахнулся Четвертаков, но пленный не испугался и не обиделся.

– MarschMarsch! – повторял он нетерпеливо и улыбался. – Kommandant!

А Четвертаков и не хотел его обижать, и пугать не хотел. Он понимал, что идёт война. Конечно, его друга Сомова жалко, но у каждого своё счастье или несчастье, а германца обижать нельзя, он пленный. С другим германцем столкнулся Четвертаков под Гумбинненом и под Лодзью, но тот германец был вооружённый, и его было много. За эти столкновения Иннокентий Четвертаков первым в полку получил солдатскую серебряную Георгиевскую медаль.

Около избы командира №2-го эскадрона он увидел Клешню.

– Доложи их высокоблагородию, што пленный доставлен.

Клешня кивнул, ушёл в дом, через секунду выглянул и махнул германцу.

– Ну вот! – сказал Четвертаков сопровождавшему драгуну. – Сдали с рук, можно итить вечерять!

– Так точно, господин унтерофицер! – ответил драгун.

Клешня препроводил пленного:

– Биттедритте, хер!

– Was?

– Нас, нас! – Клешня шагнул в сторону и легонько подтолкнул германца, тот переступил порог и оказался в ярко освещённой светёлке, перед офицерами. Он растерялся и замер.

– Кто вы? Как вас зовут? – услышал он от того места, где сияла лампа. Он посмотрел и сощурился, вопрос был задан по-немецки.

– Писарь штаба восьмого прусского уланского полка, унтерофицер Людвиг Иоахим Шнайдерман, я вас не вижу изза яркого света, господин...

– Полковник! – сказал сидевший в центре стола офицер и сдвинул лампу.

– Господин полковник...

– У нас сегодня праздник Крещения, господин унтерофицер, не откажетесь выпить стакан пунша?

– Премного благодарен, господин полковник, но я хочу вам сказать, что... – Унтерофицер увидел, что полковник, сдвинувший лампу, хотел его перебить, но рядом с ним сидел другой офицер, тот дотронулся до локтя полковника, и полковник удивлённо посмотрел на него. Офицер что-то сказал, полковник, недовольный, заёрзал и откинулся на стенку светёлки.

– Мы не допрашиваем пленных, но если вы хотите сами что-то сказать, мы вас слушаем, – сказал офицер, на плечах которого были погоны с золотым шитьём, двумя продольными красными полосками и тремя звёздочками. Его сосед, назвавшийся полковником, тоже имел золотые погоны с двумя полосками, но без звёздочек.

«Значит, этот что, подполковник?» – подумал пленный.

– Господин...

– Подполковник.

– Господин подполковник, у меня есть что сказать... Нам всем грозит большая опасность.

– Нам всем грозит большая опасность, потому что мы все на войне, – произнёс полковник, в его голосе прозвучало недовольство и раздражение.

Пленный на секунду задумался, ему было понятно, что имел в виду полковник, однако он проявил упорство.

– Могу я попросить у вас карту или хотя бы чистый лист бумаги?

Пленному не ответили.

– Я пошёл в армию добровольцем со второго курса естественного факультета университета города Кёнигсберг...

– Сейчас вам дадут чистый лист бумаги... – сказал подполковник, и пленный тут же его спросил:

– А который сейчас час?

После того как прозвучал этот вопрос, снова недовольным голосом заговорил полковник порусски, и пленный понял только, что тот произнёс «генерал Шлиффен».

«Ага, значит, он думает, что я сумасшедший и выставляю себя в качестве начальника германского Генерального штаба Шлиффена, но он не прав, сейчас начальником – генерал Мольтке!» У пленного было время поразмышлять, потому что бумагу и перо с чернильницей принесли и положили перед ним только что.

– Господин полковник! – обратился пленный. – Вот это деревня, в которой квартирует ваш полк. – Пленный быстрым движением нарисовал на бумаге угловатую геометрическую фигуру. – Об этом донесла наша аэроразведка. В шести километрах отсюда поставили нашу гаубичную батарею, примерно вот здесь, тут железная дорога. – Он ткнул пером в край листа. – Сегодня будет обстреляна деревня, эта, – он показал пальцем себе под ноги, – а завтра, если будет ясная погода, сюда прилетят аэропланы посмотреть на точность стрельбы. Стрельбу должны начать через три часа.

Офицеры не все понимали по-немецки, понимали полковник, подполковник, ротмистр фон Мекк и поручик Рейнгардт. Остальные переглядывались, когда германец говорил, и внимательно слушали, когда звучал перевод.

– Он лазутчик, господа! – раздражённо произнёс полковник Розен, когда пленный закончил. – Он послан, господа, чтобы заставить нас покинуть эту деревню и выйти в голое поле, господа! Вот там нас и накроют!

Пленный слушал раздражённую речь полковника, но при этом он слышал молчание офицеров. Первым заговорил подполковник:

– Вы с этой батареей?

– Никак нет, батарею перевели с Западного фронта, откуда-то из Бельгии...

– И вы...

– Надоело сидеть в штабе... – не дал ему договорить пленный.

– Понятно. Захотелось повоевать... А откуда вам известно про бомбардировку?

– Я видел бумаги, а вчера над вами летал аэроплан, он производил разведку. – Пленный увидел, как стали переглядываться офицеры и, стараясь, чтобы не было заметно, кивали друг другу.

– Чем вы ручаетесь за ваши слова? – спросил подполковник.

– Всё очень просто, господин подполковник, – ответил пленный, – давайте останемся здесь все вместе...

Снова порусски заговорил полковник:

– И если через три часа не начнут стрелять германские пушки, я отдам приказ его расстрелять, согласны, господа?

Офицеры закивали, пленный не понял ничего, кроме слова «германские», но понял смысл сказанного и кивнул, выражая своё согласие.

– Он говорит, что согласен, он вас понял, господин полковник, – обратился Вяземский к Розену.

– Я же говорю – лазутчик, если ещё и порусски понимает! Так что будем делать, господа? – обратился к офицерам полковник Розен.

– Впервых, думаю, надо предупредить деревенского ксёндза, пусть уводит население, а вовторых, и нам надо быть готовыми покинуть деревню, – ответил за всех Вяземский.

– И расстрелять этого суккина сына ровно через три часа, если обстрела не будет! – раздражённо пробормотал Розен.

– Разрешите? – спросил пленный.

– Слушаем вас, – ответил Вяземский.

– Вчера эта батарея уже вела пристрелку, и ваш эскадрон попал под её огонь, один залп, четыре выстрела, я там был...

Когда Вяземский переводил, офицеры хранили молчание.

– Я, – сказал пленный, – обычный немец, доброволец германской армии и готов умереть в бою от пули противника, врага, но не от своей, это было бы глупо.

– А должен был бы радоваться, – прошептал поручик Рейнгардт командиру №3-го эскадрона ротмистру Дроку, – что не выдал планов. Сам погиб, но при этом позволил уничтожить тыл противника и целый драгунский полк. Всё же его надо расстрелять, даже если он говорит правду.

Дрок посмотрел на Рейнгардта и ухмыльнулся.

– Сашка! – крикнул полковник. Вошёл Клешня. – Налей ему пунша, дай закуски и выведи отсюда, только недалеко.

– Вас сейчас накормят, – перевёл пленному Вяземский.

Клешня взял пленного за локоть и вывел в сени, там усадил в самом дальнем углу, налил стакан пунша и пододвинул тарелку с колбасой.

– Давай, немчура, подкрепись! – сказал он и с другими денщиками стал переносить в светёлку чугунки.

Офицеры ещё обсуждали слова пленного, но уже посматривали в сторону Клешни, как тот накрывает на стол. Это действие длилось не очень долго, всего лишь несколько минут, но они как замороженные смотрели, как Клешня расставляет посуду, раскладывает холодные закуски, протирает и кладёт на стол приборы. Когда он выходил за следующим блюдом, офицеры переглядывались и строили восхищённые мины. Клешня поражал всех своими движениями, и никто не мог их разгадать: когда он что-то клал на стол, то впечатление было обратное, что он не кладёт, то есть поднимает, переносит и ставит, а, наоборот, что он скрадывает, и казалось, что вилка, нож или салфетка должны исчезнуть в его шевелящихся пальцах, а они вместо этого оказывались на столе. Как это получалось, никто не понимал. Сашка тоже этого не понимал, он ничего специально не придумывал, но ему нравилось, как танцуют и завораживают его пальцы, осторожно и хитро, за эту рачью манеру и был прозван «Клешнёй». Старший приказчик у Тестова был очень расстроен и даже рассержен, когда узнал, что Сашка Павлинов подал прошение о поступлении в армию охотником-добровольцем.

– Ну что, господа, с праздником! – провозгласил полковник Розен, когда стол был накрыт. – Отец Илларион, начинайте.

Отец Илларион прочитал молитву, и офицеры приступили к обеду.

– Что вы думаете обо всём этом, Аркадий Иванович? – спросил Розен.

– Я думаю, что от каждого свинства надо бы научиться оторвать свой кусок ветчины, это, Константин Фёдорович, такая восточная мудрость.

– Не темните, Аркадий Иванович.

– Да я и не темню, ваше сиятельство, – промолвил Вяземский. – Конечно, этот студент заслужил расстрела за такое предательство, однако война, ваше сиятельство, как мы уже поняли, далеко потеряла оттенок рыцарства, с которым мы начинали в августе под Гумбиненом, это уже другая война. Вспомните, как пулемёты выкашивают кавалерию, как на сенокосе... сотнями.

Розен стал печально кивать.

– Разве белый генерал мог такое предположить? – продолжал Вяземский.

– Да... Михал Дмитрич... хотя он был светлая голова, думаю, он быстро расставил бы всё на свои места.

– Согласен, поэтому генерала Скобелева так все и ценили, не за одну только храбрость... – Вяземский был вынужден прерваться, потому что вошёл адъютант.

– Прошу! – обратился к нему Розен. – Мы уже обедаем. У вас новости?

– Мимо совершает променад рота пластунów, просятся рядом на ночлег, не будет ли каких распоряжений, господин полковник?

Вяземский вскинул глаза и произнёс:

– Это очень кстати, Константин Фёдорович!

Розен посмотрел на Вяземского.

– Это *очень* кстати, Константин Фёдорович! – повторил Вяземский.

– Да, да, конечно, пусть у нас переночуют, а заодно и накормить...

– Слушаю, господин полковник, разрешите исполнять? – спросил Щербаков.

– Исполняйте, голубчик. – Розен махнул рукой и посмотрел на Вяземского, у того светилось лицо. – Однако вы что-то задумали, батенька, нука поясните!

Деревенский ксёндз отказался выводить односельчан вместе с полком в голое поле.

– Не! Мы пуйджёмы до лясу, – сказал он, обращаясь к Розену. – Там каждая роджина мае стоделе и там ест мейсце для быдла, пан полковник.

– Как знаете, господин ксёндз, землянки в лесу – это хорошо, тем более у каждой семьи, но тяжёлая артиллерия даёт большой разлёт, снаряды могут попасть в лес, это опасно, – сказал Вяземский.

Ксёндз подумал и ответил:

– Трафи, не трафи, то тылько бог вье, а ежели быдло змарзнье, то бенджье бардзо зле.

– Ну, как знаете! «Повезёт, не повезёт», – повторил он слова ксёндза. – Вам нужна помощь?

– Помощь потшебна. Гды ващи жолнеже зачнон алярмовачь, нех одразу будзон хлопув, а юж далей я сам с тым порада. Война вшистких нас научила ще збераць в крутким часе.

– Что в итоге? – спросил Розен.

– Надо, чтобы наши солдаты поднимали по тревоге сельских жителей, там, где стоят, – довёл смысл сказанного Вяземский и спросил: – Объявлять тревогу?

– Объявляйте! И пригласите отца Иллариона.

Отец Илларион отказался уходить с полком и настоял на том, что он останется в селе с незахороненными погибшими во вчерашнем бою. Ни на какие уговоры он не поддавался и наотрез отказался от охраны.

– Кого охранять, ваше сиятельство?

Розен был ответом батюшки очень раздосадован, но и рисковать полком не мог.

Сашка Клешня приторачивал к седлу тяжеленное хозяйство – два огромных казачьих выюка, шитых из воловьей кожи, в них помещался стол полковника. К другому седлу уже приторочены ещё два выюка с гардеробом полковника. Был ещё третий тóрок с такими же выюками, в них находился пищевой припас полковника и его винный запас. Первая и третья пара выюков – самая ценная, и в случае утраты Сашка мог пострадать. Сыромятные торока толстые, грубые, пальцы у Сашки тонкие, нежные, и он еле справлялся. Пальцам было холодно и немоготу, не по силам, однако помощи ждать было не от кого, и он терпел. Команду собираться по тревоге полковник отдал ещё во время обеда – полку выдвинуться в ночь, и дано на это было полчаса. Через час полк должен был находиться в версте от деревни.

Сашка вязал узлы, терпел боль, но успевал и оглянуться, и каждый раз, когда оглядывался, видел, что по главной длинной улице Могилевицы движутся в противоположные стороны два потока: один поток верхом – драгуны, и они двигались на северо-восток; а другой пешком на юго-запад, ведя на верёвках «быдло». «Быдло» вели «хлóпи» с «роджiнами»: на подворьях польских крестьян было много крупного и мелкого скота. Только что вывез своё хозяйство соседствовавший с избой полковника Розена крепкий крестьянин Петша. Он одного за другим вывел трёх коней, двух волов, бычка, шесть бурёнок и около десятка овец. Птицу Петша оставил. Петше помогала его «жóна» Мары́ся и старшая «цýрка» Ба́рбара – Варварушка, как на русский манер переименовал её Сашка. Они несколько раз уже успели переглянуться через невысокий тын, один раз Сашка даже подмигнул, а Варварушка не отвернулась. Осталось угоститься на двоих семечками и завести разговор.

«Эх, твою мать, – с досадой думал Сашка, – только-только переглядки начались, и вот тебе – тревога, и до семечек не дошло!»

Ветер отогнал в сторону тучи, и над широким заснеженным полем повисла яркая луна.

«Будто электричество на Невском!» – подумал Вяземский.

«Аки факел на столбу!» – поглядывал на луну Четвертаков.

– Не заблудитесь, Четвертаков? – обратился Вяземский.

– Как же, ваше высокоблагородие, скажете тоже. Коли я заблужусь, так мне в тайгу, домойто, и вернуться будет заказано, Хозяин уважать не станет.

– А то, что днём там были, ничего?

– А мне всё едино, што день, што ночь, вона как луна вся вы́зверилась на небе!

Ровно под лунной чернелo село, а с северозапада острым углом в деревню упирался непроглядный лес.

– Рысью маарш! – скомандовал Вяземский, тронул повод, и его чистокровная пошла по наезженной санями дороге между полей.

«Экий он всётаки! – глядя в спину Вяземскому, думал Четвертаков. – Десятиаршинный, недаром из кавалеров!» – Слово кавалергард ему не давалось. Кешка видел таких на цирковых афишах в Иркутске и в Москве, только сам в цирк не попал, однако после увиденного и не надо было, а то вдруг там хуже?

Через сорок минут Вяземский первым выехал на большую, залитую лунным светом поляну, куда вчера стреляла германская артиллерия, и подозвал командира роты пластунов.

В лунном свете ротный и драгунский конь, на котором он сидел, выглядели запанибратски: конь шёл вперёд, но голову склонил вбок; ротный сидел в седле, а смотрелось так, будто он балансирует на подлокотнике кресла; и было совсем непонятно, каким образом папаха ротного держалась на его правом ухе, потому что над левым ухом ротного бушевал вихрево́й чуб.

Четвертаков не отставал.

– Ты погляди, а немчура своих так и не подобрала, – оглядывая поляну, промолвил Кешка. Ротный глянул на него и удивился, что унтер начинает разговор «поперёд» своего

командира. Вяземский тоже посмотрел на Четвертакова, как тот понял, с укоризной. Он прикусил язык. Вяземский достал часы.

– Через пять минут, – сказал Вяземский.

После обеда и совещания у Розена, получив разрешение выполнить свой план, подполковник Вяземский набрал отряд добровольцев из состава полка и пластунов. Отдельно у ротмистра фон Мекка он попросил Четвертакова, как участника вчерашнего боя с прусскими уланами и опытного следопыта. Всего в отряде Вяземского получилось шестьдесят сабель, в числе которых было двадцать пластунов.

– Четыре минуты! – глядя на хронометр, промолвил Вяземский.

Но только через семь минут затропотали кони, они первыми почувствовали, как под их ногами дрогнула земля. Ещё через минуту отряд услышал звук артиллерийского залпа.

Вяземский подумал: «Опаздывают!» – и посмотрел на Четвертакова.

– Тама! – махнул рукой Четвертаков на северо-запад, дал коню шпоры и повёл отряд.

По наезженным польским зимним дорогам отряд Вяземского шёл по три всадника в ряд. Луна освещала дорогу, снег отражал в полную силу, свет впитывался только в чёрные рощи и перелески.

Четвертаков и ротный посмотрели на небо одновременно. С запада на луну напознала туча и вотвот должна была закрыть, на туче снизу вспыхивали отсветы выстрелов.

«Теперь не ошибусь!» – удовлетворённо думал Четвертаков.

«Везёт ссукину сыну!» – позавидовал Четвертакову ротный.

«Молодцы, ребята, хорошо дело знаете!» – радовался за обоих Вяземский.

По карте за деревней БялаМазовецка, откуда стреляла крупнокалиберная гаубичная батарея, по самой её окраине проходила железная дорога. Для германских артиллеристов это было удобно: отстрелялись и передислоцировались.

Перед батареей в нескольких сотнях саженей должно сидеть передовое охранение, а перед ним дозоры разведки, значит?..

– Верста! – крикнул ротный. – Осталась верста, вашскобродие!

Вяземский пришпорил Бэллу и возглавлял скачку. Всего германцы дали одиннадцать залпов. Вяземский засёк, между залпами проходило до двух минут. Сейчас после залпа прошло уже больше трёх минут, и получалось, что этот залп последний. Если так, то весь план: пока стреляют, подобраться как можно ближе к батарее, пустить вперёд пластунов, они вырежут разведку и охранение, а потом наскочить на батарею и забросать её гранатами – может сорваться.

– За мной! По два в ряд!

Подполковник Вяземский пустился через поле, теперь он и сам знал, где находится германская батарея. Облака закрыли луну, но заснеженное поле светилось, подмороженный наст был неглубок, на просторе снег сдувало ветром. Вяземский помнил, где на облаках отражались сполохи от выстрелов, и управлял Бэллой. О том, что его Бэлла может споткнуться, не думал.

«Сейчас главное не осторожничать!» – смотрел он вперёд и слушал топот скачущих позади драгун.

Он увидел вспышки, это открыли огонь пулемёты, до них осталось саженей сто. Он глянул на ротного и на Четвертакова, те скакали на полкорпуса сзади, и за ними скакали пять с лишним десятков всадников. Германским пулемётчикам было трудно попасть в темноте в узкую, только угадывающуюся на поле под плотным чёрным небом цель. Вяземский показывал ротному на пулемёты и замедлил ход. Тот привстал в стременах, козырнул, пошёл вперёд, и пластуны устремились за ним. Вяземский видел, как двадцать пластунов разделились пополам на две стороны, проскакали ещё саженей пятьдесят, соскочили с коней, повалили их на землю и исчезли. Он услышал, как по ним стреляют, вспышек стало много, и он снова пришпорил Бэллу.

«Пройти охранение как шилом!» – стучала мысль.

«Проскочить охранение!» – понимал действия командира Четвертаков и, хоронясь от свистевших пуль, склонился к шее Красотки. Про себя он называл её Чесотка, потому что кобыла была с норовом.

Охранение оказалось в две линии, лежали стрелки, а за ними закопались две пулемётные точки. За спиной пулемётчиков проходила железная дорога.

«Батарея за железной дорогой, значит, надо проскочить. Хорошо, что Польша такая ровная и нет высоких насыпей».

Однако через рельсы и по шпалам пришлось переходить шагом.

Батарея расположилась на скотном выгоне БялаМазовецкой, растянувшись вдоль железнодорожного полотна. На ровной площадке ещё пока стояли четыре гаубицы, и вокруг сустились тридцать или сорок человек артиллерийской прислуги и охрана, ждали платформы.

– Руби! – скомандовал Вяземский и пошёл на дальнейшее слева орудие.

На него набегал германец с длинной винтовкой, Вяземский застрелил его из револьвера. Второго германца он зарубил шашкой, третьего сшибла Бэлла, несколько человек побежали в разные стороны, и гоняться за ними было некогда, он только двоих застрелил, остановился около орудия, к нему присоединился вахмистр Жамин, Четвертаков и ещё несколько драгун его эскадрона, они стреляли по бегавшим немцам и ждали. Через несколько минут к ним подскочил эскадронный кузнец, он заклепал замок орудия и сбил панораму. Стволы орудий уже были в походном положении, и в ствол последнего, четвёртого, Четвертаков от лихости бросил ручную гранату, она взорвалась, получилось как выстрел, и им оторвало полголовы у драгуна Ивова. Вяземский это увидел, а Четвертаков нет.

«Ну что с ним сделать после этого, с варнаком сибирским?» – подумал Вяземский и только мысленно развёл руками, он знал, что ему на это сказал бы каждый солдат, мол, жаль убиенного, однако и самому по сторонам «глядеть надобно». Кроме Вяземского, свидетелем этого несчастного случая были кузнец и вахмистр №1-го эскадрона Жамин.

Возвращаясь, отряд перешёл через железную дорогу, и к нему присоединился ротный со своими пластунами.

– Охранение? – спросил Вяземский.

– Всех...

– Потери?

– Трое наповал и две лошади.

– И у нас трое. Раненых пока не считали.

– Можете скольнибудь ваших посадить по двое? – попросил ротный.

Пластуны, как все казаки, своих убитых не оставляли на поле боя, это было известно. Вяземский попросил подобрать и его драгун, позвал Жамину и распорядился насчёт предоставления казакам нужного количества лошадей.

Версты за две Вяземский понял, что зарево впереди – это горящая Могилевица, а когда подъехали ближе, стало видно, что пылает и лес.

Отряду понадобился час, чтобы средней рысью вернуться к полку. Полк стоял в версте от разбитой Могилевицы в состоянии растерянности. Розен послал к лесу шестой эскадрон, но драгуны не смогли войти в пожарище, они только подобрали с три десятка воющих обгоревших «хлопув» и «жонок», несколько человек умерли тут же на снегу, по полю бегали и ревели обожжённые коровы, и догорали живыми факелами длинношёрстные овцы. Такого зверства никто из драгун ещё не видел. Третий эскадрон Розен направил в горящее село на розыски отца Иллариона, того нашли и вывели седого. Унтерофицер Людвиг Иоахим Шнайдерман был расстрелян. Из всех офицеров об этом сожалел только Аркадий Иванович Вяземский.

Денщики растянули большую палатку, на походе она служила полковым офицерским собранием. Клешня и денщики сутились внутри и накрывали завтрак, а Розен и Вяземский отошли в угол и обсуждали итоги ночного дела. Вотвот должны были подойти офицеры.

– Что скажете, Аркадий Иванович?

– Немного, Константин Фёдорович, только думаю, что германцы накапливают силы для большого дела.

– Почему вы так думаете?

– Впервых, потому, что они ставят тяжёлую артиллерию на одну линию с полевой, то есть не в тылу, а почти на передовой. Вовторых, охранение батареи не закопалось в землю, они всего лишь отрыли неглубокие окопы...

Вяземский не успел договорить, и он и Розен услышали странный звук, напоминающий рокот мотора, только мотор рокотал где-то вверху и очень громко. В палатку заглянул вестовой:

– Какие будут указания, ваше высокоблагородие?

– А что это? – удивился Розен.

– Не могу знать, рокочет, – отрапортовал вестовой. – Только поначалу было совсем тихо, а вдруг сразу громко... и над головой.

– Аэроплан, господин полковник, – тихо произнёс Вяземский, – как вчера пленный и говорил, прилетели смотреть точность попадания.

– Давайте-ка мы выйдем, – Розен накинул шинель. – А то как-то, знаете ли, неуютно я себя чувствую... над головой летают, а мы даже не видим...

Они вышли из палатки и стали смотреть.

Сожжённая Могилевица находилась в версте. Между северо-восточной окраиной и ближним к ней №1 эскадронном лежала мочажина. Ночью, не разобравшись, туда сунулись верхами и чуть не утопили коней, кони провалились в накрывший болотину снег по брюхо, и это было, видимо, не самое глубокое место. В селе сгорело всё, только торчал костёл, каменные трубы изб и дом ксёндза. Не сгорела рига, её обошли и зажигательные снаряды, и поднявшее тягу до самого неба пламя, охватившее село. Сейчас от пепелища поднимался белёсый дым, он смешивался с низкими облаками, и, если бы не запах свежего пожара с привкусом чего-то отвратительного, можно было подумать, что на землю лёг плотный туман и он застилает всю округу. Того, что рокотало в небе над облаками, было пока не видно.

– А что же он летает, если ничего не видно? – спросил Розен, задрал голову.

– Наверное, надеется, что в облаках могут быть окна, разрывы, – не слишком уверенно ответил Вяземский, он тоже смотрел вверх. Полковник хмыкнул:

– А столько дыма они не предполагали? Тут же больше дыма, чем...

Он не договорил, в мочажине поднялся снежноводяной столб, в основании которого была чёрная земля, и через секунду раздался грохот.

– Он ещё и бомбы кидает! – взвился Розен. – Чёрт знает что это за война такая, раньше хотя бы небо нам ничем не угрожало, только божьим наказанием, дождём или снегом! Что же это за вольности такие?

Вяземский ухмыльнулся, про таких отставших от современной жизни старых офицеров в личных формулярах писали: «Общее образование получил дома, военное – на службе»...

– А чувствуете, какой запах идёт от этого дыма? Чем это они сожгли деревню и лес? – Вопросы Розена повисли в воздухе. – В лесто попало снаряда четыре, а горит, будто его маслом полили, а? Аркадий Иванович?

Подполковнику очень хотелось высказаться по поводу того, что вчерашнего пленного поторопились расстрелять, но, впервых, приговор был приведён в исполнение, а вовторых, германцы и задержались-то с обстрелом всего на семь минут.

– Четвертаков сорвал с кого-то из германцев, судя по всему, с офицера...

– А что же это он, сукин сын, не разобрал – с кого?

– Это было трудно, ваше сиятельство, я на него не в претензии. Было темно, и все германцы были в прорезиненных пелеринах, а на шишаки надеты защитные чехлы, чтобы не отблёскивали, поэтому все выглядели одинаково... Он сорвал, как оказалось, полевую сумку, в ней карта, хотел вам показать...

Полковник пожался от холода:

– Пусть его, раз вы на него не в претензии... Смотрите, уже и господа офицеры идут, долбжите нам всем, пусть все послушают, да и завтрак уже готов. – Розен постучал сапогами, сбивая с носков снег. – И вы, голубчик, постучите, не будем нести в палатку сырость, господа офицеры сейчас и так наташат.

Офицеры уже столпились у порога, Розен приподнял край, потом оглянувшись, с сожалением посмотрел на сапоги подошедших и безнадежно махнул рукой:

– Заходите, господа, заходите уже, и я не вижу отца Иллариона!

Вокруг раскладного стола не было стульев, офицеры стояли. Ближний к пологу выглянул наружу и сказал:

– Ведут!

– Как ведут, кого ведут? – удивленно спросил Розен.

Полог отодвинулся, и в палатку, поддерживаемый под руки вахмистром Жаминим и унтером Четвертаковым, неуверенно шагнул отец Илларион.

– Табуретку бы ктонибудь придумал... – Полковник был сильно расстроен, и в этот момент просунулся Клешня с раскладным табуретом. – Ну вот так, что ли! Присаживайтесь, отец Илларион.

Вяземский внутренне ахнул. Он слышал о подвиге полкового священника, тот провёл весь обстрел в молитве рядом с гробами погибших в позавчерашнем деле и пока незахороненных драгун. Отец Илларион состарился и поседел.

Жамин и Четвертаков вышли.

– Не обращайтесь на меня внимания, господа, – тихим голосом, почти шёпотом сказал священник.

– Налейте ему пуншу, господа, если не затруднит. Сегодня, в честь спасения полка – без чинов! Аркадий Иванович, прошу!

Вяземский коротко рассказал о деле с германской батареей, показал карту, на ней было ясно видно, что обстрелу должно была подвергнуться не только село, но и лес.

– Такое ощущение, господа, что германцы что-то испытывали в этих снарядах...

– Это фосфосы, господа, снаряды были снаряды фосфосом, поэтому всё так горит, – размеренно произнёс полковой врач Алексей Гивиевич Курашвили. – Он горит, пока не выгорит весь.

Офицеры обернулись.

– Да, господа, это очень противная штука. – Курашвили картавил. – Белый фосфос стоает весь со всем тем, на что он попал. Можно потушить, только если пеекзуть доступ кислотода, напьемь набьосать свежху одеял... или шинелями.

Кешка, держа в полотенце, внёс большую серебряную ендову, из неё парило.

– Пуншу, господа! – сказал Розен. – Отец Илларион, вам особо рекомендую, у вас вид нездоровый. – Розен махнул рукой Сашке, тот поставил ендову на стол и стал половником наливать пунш в серебряные стаканы. Судя по виду, и чашаендова, и стаканы были турецкие. Это и был стол полковника, которым тот дорожил и возил с последней турецкой войны, где был ещё корнетом. Сашка глянул на Розена, тот кивнул, и Сашка первый стакан подал отцу Иллариону.

– Только не обожгитесь, батюшка, – тихо сказал Сашка.

– Спасибо, голубчик, – глянув в глаза Сашке, ответил отец Илларион и стал дуть на горячий пунш. Губы у него тряслись.

– Ну что, господа, если обстановка нам ясна, приступим, прошу... – Розен широким жестом показал на стол. – А вас, Аркадий Иванович, прошу составить представления на награды... пластунов прошу особо...

Полковник не успел договорить, раздался один за другим два взрыва, ближние к положу офицеры вышли и вернулись смущённые.

– Что это? – спросил Розен.

– Две бомбы, – ротмистр Дрок замялся, – попали...

– Куда? – Все смотрели на него.

– В ригу...

Четвертаков и Жамин возвращались от палатки офицерского собрания. Они вошли в деревню и закрылись рукавами, дышать едким дымом было невозможно. Пятнадцать минут назад Жамин получил команду собрать из всех эскадронов людей и откопать братскую могилу. Сейчас и Жамин и Четвертаков боковым зрением видели, как по белому полю к чёрной сгоревшей деревне пешим порядком следует колонна драгун. Лопатами вахмистр ещё вчера разжился у селян, и сегодня драгуны несли их как карабины по команде «на плечо». Колонна уже подходила к дымящимся развалинам крайних построек, ветер понемногу разгонял дым и гарь, и стало видно длинную крышу риги. Вдруг она вздрогнула, в эту же секунду вздрогнули воздух и земля, и крыша исчезла. Оттуда, где она стояла, вырвалось пламя и раздался оглушительный грохот. Четвертаков и Жамин остановились.

– О как! А кого же теперь хоронить? – через секунду спросил Четвертаков у Жамина.

Жамин постоял и мотнул головой. Четвертаков ждал, что тот скажет, и Жамин сказал:

– А всё же надо дойти глянуть, чего там, может, кого ещё и можно схоронить, один тама твой, – сказал он и, не глядя на обомлевшего Четвертакова, зашагал вперёд. Четвертаков его догнал:

– Какой мой, Сомов, што ли?

– Не, не Сомов, с ним всё ясно, а Ивов! Знаешь такого?

Четвертаков попытался забежать вперёд Жамина, но тот шёл быстро, проход по улице изза жара от подворий справа и слева был узкий, и за Жаминым можно было только гнаться. Четвертаков дёрнул вахмистра за рукав, это было не положено, но Четвертаков знал, что бумага на него написана и что не завтра, так послезавтра он прыгнет через чин и тоже станет вахмистром. Жамин резко остановился, Четвертаков на него налетел, но Жамин не шелохнулся, только из себя выдавил:

– А не насакивай, Четвертаков, не насакивай, убил раба божьего Ивова, а теперь насакиваешь, думаешь, ты тут один – герой?

Когда после обеда Сашка Клешня снова увязывал торока, к нему подошёл врач.

– Вас ведь зовут Александъ, как вас по батюшке?

Сашка повернулся.

– Демьяныч, – ответил он.

– Александъ Демьянович, у меня к вам есть предложение, поскольку вы, как и я, москвич и ваш скелет, как и мой, не предназначен для кавалерийского седла, если хотите, можете сесть в мою двуколку, место найдётся.

– Премного благодарен, Алексей Гивиевич, ваше благородие!

– Можно без «благородиев».

- Как угодно, можно и без «благородиев», а вы в Москве откуда будете?
- Я с Малого Кисловского пееулка, дом лесопъомышленника Белкина, а вы?
- С Поварской.

– Ну вот и хорошо, значит, нас с вами ьазделяет только площадь Аьбатской заставы...
«Тот ещё москвич... Арбатских ворот...» – мысленно поправил доктора Сашка.

Курашвили мял папиросу.

– Можете ваш кааван, – продолжил он, – пьивязать к моей двуколке, это, кстати, и без-
опасно, на ней кьасные кьесты нашиты, поэтому соусники и винный запас уважаемого Кон-
стантина Фёдоовича будут в большей сохьанности.

– Премного благодарен, Алексей... – Сашка чуть было не сказал «Гирьевич», как по кре-
стьянской своей простоте врача звали драгуны из тверских: «Ку́ра» и «Гиря», но недолго,
только до того, как «Кура» поднял с того света нескольких тяжелораненых кавалеристов.

– Гирьевич, Гирьевич, знаю, так пьоще, не смущайтесь, Александ`ь Демьяныч.

Сашка засмушался и потупил взор и поэтому не заметил, что врач тоже смущается. Они
оба, и врач и денщик, были одного роста, высоченные, попросту говоря – верзилы и оба «шки-
леты». Курашвили был лысый, с бритым лицом и в пенсне на шёлковой ленте, а Сашка – вью-
щийся брюнет с ранней сединой и сросшимися на переносице бровями, ещё он носил свиса-
ющие усы и имел с подглазникамимешками грустные круглые глаза, как у лошади. Почемуто
оба говорили в нос.

– Я только доложусь, чтобы меня не искали, – сказал Клешня и выжидательно застыл.

– Доложитесь, Александ`ь Демьяныч, доложите, – глядя на Сашку, сказал Курашвили
и подумал: «А вид имеет прямо как только что с паперти!»

Он осмотрелся и увидел, что на него движутся санитары и несут носилки. Курашвили
шагнул в сторону, освобождая дорогу, и всмотрелся: несли восемь носилок с деревенскими,
у них был жуткий вид сильно обожжённых людей. Рядом с первыми носилками прямо по снегу
шёл ксёндз, он держал руки у груди, его лицо было черно от сажи, он сжимал молитвенник
и смотрел на лежавшего на носилках.

«Вот чёрт, – подумал про него Курашвили, – дёрнуло тебя! Берёг скотину, а сколько
людей погибло, да как страшно!» Как врач, Алексей Гивиевич больше всего боялся ожогов,
потому что знал, что этим людям нечем помочь, и они обречены на смерть, которую будет
сопровождать невыносимая боль.

Когда первые носилки были в нескольких шагах, Курашвили спросил:

– Сколько всего?

Санитар ответил:

– Тут восемь и в поле ещё двадцать один...

– Думаете, довезём?

Санитар пожал плечами, ксёндз остановился и устался на Курашвили. У него был такой
вид, как будто он сейчас взмахнёт руками, станет кричать и бросится на первого перед собой,
но ксёндз вместо этого положил молитвенник в карман чёрной сутаны, снял шапку, зачерпнул
рукою снег и стал тереть лицо. Сажа была жирная и от снега размазывалась, но постепенно
кожа очищалась, и Курашвили увидел, что ксёндз бледный, как мёртвый.

– Куда вы, пан ксёндз, хотите, чтобы мы их отвезли? Может, в дивизионный лазаёт? –
Курашвили закурил.

– Дженкуйе! Ратуй бог пана офицера! Иле зостанье живых, тылье вьёжчье до лазарёта,
мартвых бёнджемы гжёбачь по дрёдзэ, – ответил ксёндз, вытерся рукавом и надел шапку. –
То моя вина!

– То война, пан ксёндз!

Ксёндз и Курашвили поклонились друг другу, и Курашвили перевёл старшему санитару:

– Ђасполагайте с нашими уанеными, и повезум в дивизионный лазает, умеуших надо будет както хоонить по дооге.

– Мартвых бенджемы застувучь в мястучках по друдзу! – поправил Курашвили ксундз. Курашвили кивнул и перевул:

– Умеуших будем оставлуть в сулах по дооге.

Пока Курашвили разговаривал с ксундзом, вернулся Сашка. Он доложилуя полковому адъютанту, и тот только махнул рукой. Сашка встал рядом с врачом. Ему очень не хотелось смотреть на обожуунных польских крестьян, ему мерещилось, что среди них Варварушка. На его памяти сохранились московские пожары, запах горелого дерева вперемежку со штука-туркой и человеческим мясом. Он отвернулся и стал смотреть в поле, там в нескольких сотнях саженой на параллельной дороге выстраивались четвуртый, пятый и шестой эскадроны.

Мимо несли очередные носилки, на них зашевелилось тело в чурных лохмотьях и повернуло к Сашкиной заметной фигуре чурную обгорелую, без волос, голову, и доктор Курашвили, мельком осматривавший пострадавших, заметил, что человек на носилках стал шевелить пальцами. По остаткам одежды и местами не обгоревшей белой коже врач понял, что несут женщину. «Болевые конвульсии, – подумал Алексей Гивиевич. – Не жилец она».

В одиннадцать часов из дивизии прискакал нарочный с приказом выдвигаться в Груец.

Письма и документы

Здравствуйте дорогая моя матушка Елена Афанасьевна и уважаемый отчим Валерий Иванович!

Вам пишет Ваш сын Александр Демьянович Павлинов. Вы, моя матушка особо не переживайте, мы тут воюем понемножку, как на войне водится. Про Польшу говорят курица не птица, а Польша не заграница. Только поляки они ведь католики и к нашему брату православному относятся с большой оглядкой. Они нас христианами не считают совсем, вроде как язычники мы или еретики, хотя мы в одного Христа веруем. А ещё жидовинов тут много, они с поляками вперемежку живут, однако отличить их друг от дружки легко – евреи богатые, а те которые бедные, мы их и не видим вовсе, как они попрятались. А поляка отличить всегда можно, как хвастает, мол, храбрый больно, значит, поляк. Но мы с ними и не говорим, нам некогда, мы при деле состоим, а вот наши офицеры, те с ними многими знали ещё до войны, когда здесь лагерем стояли. Это они так говорят. За мои геройства Вы, маменька, не беспокойтесь, не случится мне героизировать, потому что конник я оказался не очень и переведён в обозную команду, заведовать хозяйством командира полка. А недавно было дело, так вызывали добровольцевохотников, но только у меня одного на погонах витой кант, а всех взяли, а меня нет, сказали, что я четвёртую лошадь испорчу. А дело было знатное, мне потом рассказал знакомец унтер Четвертаков, как они на германца пошли, когда он взялся по нам тяжелыми снарядами кидать и жечь всё кругом.

Ну, мы германцу ещё покажем, где тут раки зимуют. Писать боле некогда, надо исполнять обязанности.

Крепчайше Вас целую, дорогая маменька и отчиму моему Валерию Ивановичу привет и низкий поклон, когда брали Лодзь, такой польский город, я успел заскочить в часовую лавку и для отчима купил тонкий инструмент. Бог даст вернуться живым, будет ему польская презента.

И всем, кто меня знает привет и поклоны.

А со старшим прикащиком, маменька, встретитесь, ему не кланяйтесь, он мне при расчёте пяти рублей недодал. Вы ему непременно напомните.

Ваш любящий сын Александр.

Генваря 8го дня сего 1915 года.

Дражайшая моя и благоверная супружница Марья Ипатьевна.

Пишет вам ваш супруг Инакентий. Пишу вам с польскага фронта. У нас тут всё хорошо. Погоды стоят ясные. Поляки люди добрые, тока по нашему ниче не разумеют. Мы ихнюю речь понимаем а оне нашу не больно. Погоды у нас стоят добрые только морозу нету а потому снег лежит бутта зря. Кормешка добрая кормят как на убой тока рыбки хочется а так все дают и каши многа. И нет никакой опасности. Медалю мне серебряную дали егоревскую за храбрость и бравое дело ишо в октябре месяце так и ношу ея на рубахе тока под шинелию и потому не видать тока када сыму и все завидуют. Я такой у нас в полку почитай первый окоромя ахвицеров те через одного кавалеры. У нас всё спокойно и как нет войны никакой. Польша ровная аки стол или наш байкал батюшка кады льдом станет такая ровная польша, у нас говорят курица не птица польша не заграница. Тока враг у мене тута завелся Жамин прозывается чево ему от меня надобно не пойму вовсе завидки штоль завидует а многие завидуют покуда я тута один егоревский кавалер. Вы не подумайте чево я кавалер но тока по медали а других баб тута нету. Есть оно канешно баб много полячки но мы при конях и нам оглядываться некада. Так

што не думайте плохого я живой и здоровый чего и всем желаю и приветы шлю и желаю здоровья и всяческого добра и сестрице вашей и свояку и его семейству всему и сынам его подрасли штоль. И батюшке нашему отцу Василию дай Бог ему здоровья и всяческого благоденствия.

Ваш супруг Инокентий.

И Крещение праздновали как положено а морозов тут нету одно слово Польша. А Сашку Сомова убило вчерась схоронили я вам про него сказывал иначе не уберегся. Иначе наше дело военное вот а што в газетах пишут што тут война тут жестокая не верте воюем помаленьку страху нету.

Всегда ваш Инакентий Четвертаков.

Январямесяца 8 числа 1915 года от Рождества Христова.

А ище сходите на могилку к матушке моей и батюшке и брату старшому Ефиму пускай, што не в энтой могилке они лежат а на дне байкала моря батюшки а отцу Василию обскажите он все правильно исполнит. И сеть мою, что из китайскага шолкавага шнура плетена никому не давай а заявится Мишка гуран с того берега скажи ему мои слова приветные пуцай медведя многа не бьёт пуцай мне малеха оставит. А припрет меду, бери не сумлевайся скока даст мед у него добрый помнишь как евоной медовухой вся нашенская свадьба упилая и это с трех то ведер. А сама не пей без мене хотя ты и солдатка дак я ишо живой.

Здравствуй моя дорогая Ксенюшкакнягинюшка!

Пишу тебе, как пишут мои драгуны, под диктовку. Только они один диктует, а другой, грамотный, пишет. А я сам себе и диктую и пишу.

У нас всё без больших перемен. Воюем потихоньку. Много не напишешь, потому что цензура все одно вымарает. В этом смысле наша военная жизнь почти не интересная: днем в седле, ночью под одеялом. Однако скоро выдвинемся в Варшаву и будет немного веселее.

Я очень рад, что ты на твоих месяцах решилась и смогла переехать в Симбирск, к тётушке. Тебе легче будет, а мне спокойнее.

Как наш Жоржик, ждет ли он братика или сестричку? Наладилась ли его учеба, как закончил первое полугодие, нашел ли друзей на новом месте.

Пиши часто. И я буду писать часто, по-возможности. Поцелуй Жоржика и тётушку. Крещу тебя и всех вас много раз.

Твой Аркадий.

Январь, 8е, 1915 год.

Многоуважаемая Татьяна Ивановна!

Пишет Вам Ваш сосед Алексей Курашвили. Это письмо я Вам тоже не отправлю. Я представляю Ваше удивление, если Вы, практически меня не зная, мы только виделись иногда, когда Вы выходили погулять с Вашими собачками во дворик или бежали в гимназию, вдруг бы узнали, что этот нескладный верзила в Вас влюблен и носит в кармане уже четыре неотправленных письма.

А положение у нас совсем незавидное. Я могу писать об этом смело, потому что это и другие письма не будут проходить через военную цензуру. Положение скверное, потому что, видимо, наши победы прошли. Счет пока, как в английской игре «football» – 2:1 в пользу немцев. Разгром армии Самсонова в Восточной Пруссии не прошел даром. Сколько офицеров и нижних чинов попали в плен, сколько убито. Они попытались окружить нас под Варшавой, но мы им не дали, а они не дали нам прорвать фронт у Лодзи и идти на Берлин. Но не это

главное, а главное то, что германцы значительно опережают нас по качеству и новизне вооружения. Вчера мы перенесли их бомбардировку зажигательными снарядами. Двенадцатью залпами (или одиннадцатью, уже не помню) они сожгли очень большое село и значительный участок леса. Если бы мы не были предупреждены, то в этом селе сгорел бы весь наш полк. А чем мы можем ответить на эту бомбардировку? Практически ничем! Только как предателя расстреляли германского пленного, который выдал нам их план бомбардировки. И что происходит? Югозападный фронт если бы вышел на Венгерскую равнину и если бы мы взяли Вену, это значит, что мы выполнили бы официально заявленную задачу этой войны и могли бы с честью считать себя освободителями Балкан изпод АвстроВенгрии и победителями. Одной Германии было бы сложно справиться со всеми своими врагами, хотя понятно, что дряхлеющая Австро-Венгерская империя Вильгельму больше в тягость, но всётаки это большая страна и в ней много заводов и солдат, поэтому и стоило её вышибить из войны, а что вместо этого? А вместо этого все наши победы пошли насмарку и своими победамипоражениями мы только угождаем союзникам. И уже не хватает ни снарядов, ни патронов. Говорят, что за прошедшие пять месяцев войны мы расстреляли весь мирный запас артиллерийских снарядов. Значит, будем класть наших иванов и петров, а не гансов и фрицов. А наш Иван да Петр, нижний чин, драгун? За что воюете, солдатуськи браворебятуськи? За царябатюшку! А против кого? Против немца, известно! А кто это – немец? А это, который облезяну придумал! И ладно бы «обезьяну», так ведь «облезяну»!

Вот такая, многоуважаемая Татьяна Ивановна наша война.

Хорошо, что Вы этого письма никогда не увидите.

Прощаюсь с Вами и не прощаюсь одновременно. Вы – моё счастье в конверте, – всегда со мной.

8 января 1915 г.

Л. Троцкий Две армии

*«Киевская мысль» №334
от 4 декабря 1914 г.*

Монотонная жизнь в траншеях, нарушаемая лишь взрывами бешеной пальбы, приводит к бытовому сближению врагов, зарывшихся в землю иногда на расстоянии нескольких десятков метров друг против друга. Вы уже читали, конечно, как одна из сторон подстреливает между траншеями зайца и потом обменивает его на табак; как французы и баварцы поочерёдно ходят к единственному ключу за водой, иногда сталкиваются там, обмениваются мелкими услугами и даже пьют совместно кофе. Случались, наконец, и такие эпизоды, когда баварские и французские офицеры улаживались не мешать друг другу при устройстве редутов и строго соблюдали уговор. Грандиозный немецкий натиск на Изере не дал результатов, стена попрежнему стоит против стены, военные операции упёрлись в тупик, и в траншеях устанавливается психология какого-то своеобразного перемирия.

Первые три месяца войны я, после вынужденного отъезда из Вены, провел в Швейцарии. Туда беспрепятственно стекались газеты всех воюющих стран, и это создавало благоприятные условия для сравнительных наблюдений. И никогда глубокое различие исторических судеб Франции и Германии не уяснялось мне так, как в эти месяцы очной ставки двух вооружённых наций на Маасе и Изере.

Ненависти к Франции в большой немецкой прессе не было, — скорее сожаление. В конце концов, француз — «добрый малый», не лишённый вкуса, *Genussmensch* (человек наслаждения) в противоположность *Pflichtmensch*’у (человеку долга), немцу, — и если б он не мечтал о роли великой державы для своей Франции, если б эта Франция не лежала на пути к Атлантическому океану и главному смертельному врагу немецкого империализма, Англии, не было бы надобности повторять эксперимент 1870 г., — таково было в основе отношение «ответственных» немецких политиков к Франции, с её приостановившимся ростом населения и задержанным экономическим развитием. Военный разгром Франции, как и Бельгии, считался скорее «печальной необходимостью»: минуя Францию, нельзя было добраться до Англии, а кратчайший путь к сердцу Франции шёл через Брюссель. В сокрушительной победе над Францией немецкие политики сомневались ещё меньше, чем немецкие стратеги. И первые недели войны, казалось, полностью подтверждали эту уверенность. Битва на Марне, которая для французской армии, как и для общественного мнения Франции, имела решающее значение поворотного события, в глазах немцев была первое время стратегическим эпизодом подчинённого значения. И несколькими неделями позже, к тому времени, когда оба непроницаемых фронта, немецкий и французский, протянулись до побережья Бельгии, в Берлине и Лейпциге продолжали появляться в свет политические брошюры, в которых не редкостью было встретить фразу: «Когда эти строки выйдут изпод станка, судьба несчастной Франции будет уже решена»...

Не знаю, как представлялись вам события издалека. Но нам, наблюдавшим события со швейцарской вышки, действительно казалось после первых событий войны, что циклопический милитаризм Германии раздавит беспощадно Французскую республику, как он раздавил Бельгию. Накануне битвы на Марне население Франции пережило «неделю великого страха». Наяву и во сне все видели над собой пушечный зев в 42 сантиметра.

Немецкий милитаризм воплощает в себе всю историю Германии, во всей её силе и во всей её слабости. Первое, чем он поразило воображение, это могущество техники. Тяжёлые орудия, цеппелины, быстроходные крейсера, исключительной силы торпеды — всё это было бы

невозможно без того лихорадочного индустриального развития, которое выдвинуло Германию на первое место среди капиталистических государств. Техника старых капиталистических стран, Англии и Франции, чрезвычайно консервативна. Правда, в области милитаризма самые консервативные нации, как и самые отсталые, проявляли изощрённую «чуткость» ко всякому новому техническому завоеванию. Но в конце концов зависимость военной техники от общего техникопромышленного развития страны даёт о себе знать со всей силой качественно, как и количественно: диаметром орудий; числом снарядов, которые страна может воспроизвести в единицу времени; массой солдат, которых она может в кратчайший срок перекинуть с одного пункта своей территории на другой. Приведённая в движение чудовищная машина немецкого милитаризма не могла не обнаружить, что она соединена приводными ремнями с самой совершенной капиталистической техникой.

Однако милитаризм – это не только пушки, прожекторы и блиндированные автомобили; это прежде всего люди. Они убивают и умирают, они приводят в движение весь механизм войны, и они делают это с тем большим успехом, чем теснее они вне милитаризма, в нормальных хозяйственных условиях, связаны с капиталистической техникой.

Лет пятнадцать тому назад в немецкой печати велась горячая полемика по вопросу о влиянии промышленного развития страны на её военную мощь. Аграрнореакционные писатели доказывали, как водится, что рост индустрии, вызывающий обезлюдение деревень, подрывает самые основы милитаризма, который де в первую голову опирается на здоровое, патриархальное, благочестивое и патриотическое крестьянство. В противовес этому школа Луйо Брентано доказывала, что только в лице пролетариата капитализм создаёт кадры новой армии; сам Брентано ссылаясь, между прочим, на то, что уже в войне 1870 года лучшими полками считались вестфальские, набранные из чисто рабочих округов. Лично мне на Балканах не раз приходилось слышать от наблюдательных офицеров, что рабочисолдаты не только интеллигентнее крестьян и легче ориентируются в условиях, но и гораздо выносливее их, не так жестоко тоскуют по «куче» и не так скоро падают духом при физических лишениях. Несомненно, что технические качества немецкого рабочего, его исполнительность и дисциплинированность являются важнейшей составной частью немецкого милитаризма. Что приспособление человеческого материала к потребностям прусского милитаризма совершается не без затруднений, видно хотя бы из того, что процент самоубийств в немецкой казарме в два раза выше, чем во французской. Но, так или иначе, необходимый результат достигается, и известный немецкий социалиберал, бывший пастор Фридрих Науман, мог с известным правом писать в своём недавно вышедшем памфлете, что «народ железа, техники, организации и математики всё ещё остаётся старым, верным народом безусловного личного подчинения».

Наряду с техникой и дисциплинированной солдатской массой стоит ещё один фактор немецкого милитаризма – третий, но не последний по значению: прусское офицерство. «Первая часть армии, – сказал в своей патриотической речи в Берлине консервативный профессор Ганс Дельбрюк, – это те люди, которые избрали воинское дело своим жизненным призванием, всю свою жизнь не делают ничего иного и ни о чём ином не помышляют, кроме подготовки к войне, изучают её искусство, её теорию и практику, только в этом направлении работают и всецело живут в воинском понятии чести – это офицерский корпус». О генерале Гинденбурге немецкая пресса рассказывала следующий любопытный анекдот. Четверть века тому назад, когда Гинденбург стоял со своим полком в какомто захолустье, местные дамы обратились к нему с просьбой дать своё имя для благотворительного литературномзыкального вечера. Гинденбург решительно отказался, на том основании, что с кадетской скамьи он не слушал никакой музыки и не читал никаких литературных произведений, отдавая всё своё время подготовке к будущей войне. Именно поэтому, надо полагать, кенигсбергский университет избрал генерала Гинденбурга доктором всех четырёх факультетов...

На офицерском корпусе, насквозь пропитанном феодальными воззрениями и тесно спаянном духом кастовой исключительности, держится вся организация немецкой армии. Ост-эльбский офицер, отпрыск юнкерской семьи, создаёт физиономию немецкого милитаризма. Миллионы интеллигентных солдат и могущественная техника – только материал в его руках. Когда соседние страны стали воспринимать у Пруссии составные элементы её военной организации, Бисмарк сказал с самодовольной иронией: «Они многое могут сделать у себя по нашему образцу, но прусского лейтенанта им не сделать никогда!»

Прусского лейтенанта сделала немецкая история.

Февраль

Иннокентий Четвертаков вёл Красотку к эскадронному кузнецу – сбились подковы, и Красотка хромала. Ещё надо было подремонтировать оголовье.

Утоптанная снегом вперемешку с навозом центральная улица польского города БялаПодляски была ему уже хорошо знакома.

Сразу после сожжённой Могилевицы полк направился в Груец, но там долго не задержался и передислоцировался в БялаПодляски, примерно в пятидесяти верстах от БрестЛитовска.

«Дрались, дрались – веселились, посчитали – прослезились!» – была у драгун на устах старая поговорка, когда в Груце стали выяснять в подробностях, с чем полк вышел из Лодзинской битвы.

Когда полк прибыл в Груец в расположение дивизии и был построен, казалось, что он такой же, каким был в начале ноября прошлого года под Лодзью, а когда стали считать... Будто бы и рапортичек о потерях не писали, и списков не подавали. Оказалось, что в целом, если без особых подробностей, полк потерял больше двух эскадронов из шести и ещё больше строевых лошадей. Лошадь больше человека, в неё и попасть легче, и раны она переносит хуже, потому как тварь добрая, благородная, но глупая и боли не терпит.

Из Груца полк был переведён в БялаПодляску, поближе к Брест-Литовску – узловой станции и одному из главных пунктов человеческого, конского и снарядного питания.

Офицеры свой полк называли летучим: в первый бой вступили в Восточной Пруссии, под Гумбинненом, понесли потери, были пополнены, потом бились под Варшавой, а потом в самом конце октября встретили германца на стыке 2й и 5й армий там, где польский городок Лович, драгуны шутили: «Лбвичнелбвич».

В августе 1914 года полк воевал в составе 1й армии генерала Ренненкампа. Под Варшавой был во 2й обновленной армии генерала Шейдемана, а после Лодзинской битвы оказался в 5й армии генерала Плеве. А всё потому, что в верхах был беспорядок и частые перемены. В самом начале войны из-за поражения в Танненбергском сражении в Восточной Пруссии застрелился командующий 2й армией генерал Самсонов, с поста главнокомандующего СевероЗападным фронтом сняли генерала Жилинского, из-за разногласий с новым командующим СевероЗападным фронтом генералом Рузским убрали генерала Ренненкампа, после Лодзи в отставку отправили генерала Шейдемана... Так по секрету между собой говаривали офицеры полка. Им казалось, что по секрету, а от денщикова от своих куда было деваться. Вот драгуны про всё и знали, только с мудрёными фамилиями генералов у них были трудности, не могли их ни запомнить, ни выговорить, кроме Самсонова, да худобедно Русского, в смысле Рузского.

За бои в Восточной Пруссии под Гумбинненом Иннокентий Четвертаков и его друг вахмистр Сомов получили свои первые серебряные Георгиевские медали. Вручали торжественно перед строем полка до начала Лодзинского сражения в том самом Ловиче. По этому случаю они с вахмистром раздобыли польской водки со зверобоем, жидовскую брать не стали, угостились сами и угостили товарищей. Про это вызнал вахмистр №1 эскадрона Федька Жамин – сучий потрох, и доложил командиру №2-го эскадрона ротмистру фон Мекку. Тот отчитал Жамина за доклад не по подчинённости, сказал о правильном по уставу, но подлом по сути поступке командиру №1-го эскадрона подполковнику Вяземскому. Вяземский, толькотолько принявший эскадрон, учёл, но оба командира этот случай спустили с рук, потому что и Сомов, и Четвертаков показали себя как отличные драгуны. А в боях в предместье Ловича Иннокентий Четвертаков снова отличился, там из седла он застрелил восемь немцев, из которых были

два офицера, и всё с дистанции 100—150 шагов, и этим подтвердил своё умение, бесстрашие и геройство.

«Чётта ему от меня надобно?» – подумал Иннокентий про вахмистра Жамина, принялся и поднял голову – в воздухе поверх исходившего изпод ног запаха навоза чувствительно тянуло окалиной. Что ли недели две тому назад хорошо метель прошлась, и на дорогах навоз, а где живут люди, так там и печную гарь присыпало свежим снежком, потом погода успокоилась, потом всё растаяло, а потом и подморозило. И снова белое стало ржаво-рыжим от навоза и печной гари.

Сегодня 2 февраля – Сретенье.

«Сретенье! – вёл кобылу Иннокентий и думал. – Как про это сказывал отец Василий? «И встретила Богородица со старцеммудрецом, и сказывал ей старец, што несёт она на руках своих новорожденного младенца сына самого Господа Бога!» – и вдруг услышал:

– Кешка! Тайга! – Он вздрогнул.

Задумавшись, он почти прошёл мимо ворот жидовской кузницы, в которой пристроился этот чёрт из табакерки эскадронный кузнец Семён Евтеевич Петриков. «Лешак с горнила!» – подумал про него Иннокентий и стал поворачивать Красотку, а та вдруг упёрлась.

Из ворот кузни выбежали жидинята, одетые один другого чуднее в вывороченные нагольные короткие кожушки, ухватили из рук Четвертакова Красотку с обеих сторон за оголовье и потащили в ворота.

«Порвут засранцы оголовье, и так на соплях держится».

Однако Красотка перестала упираться, и послушно пошла. «От бесово отродье, – с улыбкой подумал Иннокентий про сыновей хозяина кузницы, двух мальчишек, десяти и двенадцати лет, если на глазок. – Надо было им сахару, чё ли, прихватить».

Мальчишки подвели Красотку к коновязи, ловко сняли оголовье и отдали в руки эскадронному седельнику, молчаливому драгуну, которого в эскадроне не звали по имени, потому что он на имя не откликался, и накинули верёвочный недоуздок.

Из кузницы вышел хозяин, большой мужчина в сапогах, штанах, кожаном переднике на голое тело и кожаных наручах, и обратился к Иннокентию:

– Ну что, жолнеж, охромела твоя коняка?

Иннокентий исподлобья глянул на жидовина и стал крутить самокрутку: «А чё ему скажешь, ну охромела!»

Рыжий хозяин кузницы, сам кузнец, с клещами в руках встал к Красотке задом, задрал у себя между ногами левую заднюю ногу лошади, клещами оторвал подкову и бросил в ящик, дальше Иннокентий смотреть не стал, видно, что кузнец дельный. Вставший рядом Семён Евтеич подождал, пока кузнец сорвёт все четыре подковы и бросит в ящик, поднял ящик, уже наполовину заполненный старыми подковами, кивнул Иннокентию, и они зашли в кузню.

– Сымай свою шинелишку, запаришься, и, ежели желание есть, можешь молотком постучать.

Иннокентий скинул шинель, оглядел стены, увешанные дугами, хомутами и другим чем, кузня была ещё и шорницкой, видать, жидовин был на все руки мастер, даром, что не цыган, нашёл свободный колышек и стал прилаживать шинель и отряхивать её, забрызганную снизу грязным снегом.

– Да ты и рубаху сымай! – сказал Семён Евтеевич и высыпал подковы из ящика в горн. – Не бойсь, никто тут твою медалю не сопрёт!

– А и сопрёт... – парировал Кешка.

– Ай не жалко?

– Ладно брехать, давай чего робить?

– Чего робить, говоришь? Да ты сначала к молоточку примерься!

Кешка стал осматриваться в полутёмном помещении и невольно принюхиваться:

– Ох и дух тут у тебя...

– Не у меня, у Сруля!

– Как? – удивился Кешка.

– Так! Сашка по-нашему будет! А што дух?

– Хороший дух, окалина да уголёк, как дома...

– А ты кузнец, што ль?

– Не, но жил недалече от кузни...

– А из дома чё пишут?

– Дык... – вознамерился ответить Кешка.

– Ладно, чё пишут, то пишут, главное дело, штоб писали! Штоб было кому!

– Кому есть! Да только до меня письму идти боле месяца, не шибкот пораспишешься!

– Даа! – врастяжку промолвил Семён Евтеевич. – Дома нынче справно. Снег кругом, чисто, любодорого поглядеть, весь народ на извозе. – Он передал ручку мехов стоявшему рядом старшему сыну хозяина кузни и огладил его рыжие, как у отца, лохматые волосы. – Работы, сколь не хочу... Деньжищу за зиму можно наковать... и на бурёнку хватит, тока байдки не бей... Выбрал, што ль, молоток? – Семён Евтеевич подхватил щипцами из малого горна наполовину красную, а на конце уже белую железную полосу и устроил её на наковальне: – Готов?

Он стал тюкать по полосе маленьким молоточком, и Кешка бухал туда большим молотком: белый конец полосы краснел и под ударами Кешкиного молотка плющился. Били минуту, пока полоса не остыла. В какойто момент в кузню вошёл седельник, молча бросил исправленное оголовье и так же молча вышел. Кешка и Семён Евтеевич переглянулись. Когда полоса под ударами остыла, и Семён Евтеевич положил её в горн, Кешка кивнул в ту сторону, откуда пришёл и куда ушёл седельник.

– Из дому ничё хорошего. – Семён Евтеевич положил молоток, забрал ручку мехов у мальчишки и стал быстро нагнетать жар. – Баба у него с катушек съехала вроде. С братом евоным, бобылём, снюхалась, и совсем писем не стало, и земляков ни одного, штоб новостямито переслаться.

– А он с откудова?

– Откудато с севера, из рыбных мест... Архангельск, што ли... – Семён Евтеевич передал ручку мехов жидёнку, взял из высокой кадушки длинную то ли кочергу, то ли ложку и стал тыкать ею в другой горн, побольше.

– Ты как чертей тут варишь, – сказал Кешка.

– А и варю, а можа, и жарю, на кузне, хехе, как без чертей? – ухмыльнулся Семён Евтеевич на Кешку и подмигнул сынишке хозяина кузницы.

– Тьфу на тебя, свят, свят. – Кешка перекрестился.

– Чёга ты рано крестишься, чай не обедня, или сильно набожный?

– А как тут не быть набожным, коли кругом поляки да жида?

– Поляки, как и мы, хрестьяне, а жида, чем тебе жида не угодили? Слышишь, как твоя Красотка копытом бьёт, кто сработал, не жид ли?

– А они...

– А што они?

– ...Христа нашего убили! Так отец Василий сказывал!

– Первонаперво они убили своего Исуса Ёсича, он был такой же жид, как и они, как Сашкакузнец, по-ихнему Сруль... и тока потом, када Христос вознёсся, он и стал нашим, а так

он – как есть – Царь Иудейский, иль ты на Святом распятии букв не разобрал? Грамотей же твой отец Василий!

Кешка готов был обидеться:

– Грешно говоришь, да ишо в святой праздник!

– Ладно, святые те, кто на кресте, а нам с тобой ишо знаешь, скока каши пополам с грехом хлебать придётся? – Семён Евтевич снова отдал ручку мальчишке и ухватил клещами раскалившуюся полосу.

Адъютант Щербаков подал командиру полка полковнику Розену телеграмму, Розен прочитал и обратился к адъютанту:

– Николай Николаевич, разошлите вестовых, чтобы всех офицеров не мешкая сюда, через час нам должны подать эшелоны.

Щербаков удивился, козырнул и повернулся к двери.

– Вяземского в первую очередь! – вдогонку ему сказал Розен, и адъютант вышел.

«Черт побери, что же это делается? – думал полковник. – Толькотолько стало прибывать пополнение, ещё не обмундировано и не хватает карабинов, и так далее, и так далее, и так далее...» Он оставил телеграмму на столе и стал ходить по большой светлой зале, которая в мирное время была офицерским собранием 2й полевой артиллерийской бригады Варшавского округа. Он подошёл к ростовому портрету императора, постоял и пошёл к окну, в голове всплыла песня, и он стал напевать вполголоса:

Из страны, страны далёкой,
С Волгиматушки широкой
Ради сладкого труда,
Ради вольности высокой,
Собралися мы сюда...

«Сюда! Ради сладкого труда!» – повторял он слова из песни и смотрел в окно. Второй этаж офицерского собрания, под которым проходила главная улица БялаПодляски, вызывал ощущение большой высоты, и только дымящие кирпичные трубы на крышах стоявших напротив низких одно двухэтажных домов мешали представить ему, что он стоит на самом высоком месте Венца и смотрит на замёрзшую Волгу, а у него за спиной его молодая жена помогает кормилице приладить к груди их первенца Костика. Розену охота повернуться, но нельзя, не жена кормит, а Татьяна Игнатьевна бы и рада, да молока не случилось, а Костик орёт благим матом, и никак ему невдомёк, что всегото надо ухватить губками сосок, и кормилица ему тычет, а он только берёт на горло и морщится.

«Собралися мы сюда... ради сладкого труда... – Розен щёлкнул крышкой часов, прошло уже десять минут. – Что же это нет никого? – Он потряхнул головой. – А-а-а! Надо воспользоваться, хотел же письма написать... – и быстрыми шагами пошёл к столу. – Если не успею, то хоть начну!»

Вяземский вышел из конторки почтового служащего в вокзале БялаПодляски и направился в буфетную. Было три часа пополудни, всё, что он запланировал на сегодня сделано, можно закусить и идти на квартиру. Можно идти вообще куда хочешь, но куда тут идти, в этом маленьком польском городишке? За последние дни он устал, и оставалось одно направление – на квартиру.

У буфетной стойки закусывали бутербродами несколько прилично одетых пассажиров, только что сошедших с поезда из Барановичей. Вяземский мельком глянул и пошёл к свобод-

ному столу в углу. Официант поклонился из двери рядом с буфетной стойкой, мол, сейчас он подойдёт.

За соседним столом сидел капитанпограничник, перед ним стояла ваза с фруктами, рюмка и коньяк.

«Пограничник, странно, что он тут делает? – возникла мысль и уступила место другой: – Всё же придётся создавать учебную команду!» Эта мысль прочно держалась в голове уже некоторые сутки. Вяземский с командирами других эскадронов принимал пополнение, приходившее малыми партиями – из маршевых эскадронов полку отчисляли по несколько человек, даже не десятков, а полк должен был принять почти триста новобранцев. Новички никуда не годились, были приличного здоровья, но часто неграмотные и не прошедшие после призыва никакой подготовки, не только кавалерийской или стрелковой, но даже и строевой. И все кто откуда: Ярославль, Псков, Новгород Великий, Тверь...

«Надо Розену предложить рокировку...» – подумал Вяземский, и в этот момент официант положил на стол меню, в котором было указано шесть или семь блюд.

– Голубчик, – обратился он к официанту, – сделайте, как вчера.

Официант поклонился и ушёл.

«Что тут выбирать из шести блюд?..» – успел подумать Вяземский и почувствовал, что капитанпограничник за соседним столом смотрит на него. Вяземский глянул, капитан поклонился, Вяземский тоже.

– Капитан Адельберг, – представился тот. – А вы, если не ошибаюсь, Аркадий Петрович Вяземский?

– Аркадий Иванович!

– Прошу извинить, много времени прошло...

Вяземский ещё не узнал, но пригласил капитана за свой стол, подошёл официант. Капитан поблагодарил, пересел и кивнул официанту, тот перенёс коньяк, поставил вторую рюмку и налил. Вяземский смотрел, внешность у пограничника была характерная, и он стал припоминать:

– Давно мы с вами не виделись, года... с девятого... десятого?..

– Девятого, в десятом я из лейбегерей перевёлся в Заамурский округ пограничной стражи, в Маньчжурию...

– Тото я вижу...

– ...А в сентябре с началом кампании из Маньчжурии был откомандирован в Ставку. Сейчас направляюсь к Алексею Алексеичу...

– Понятно, – сказал Вяземский. Он был рад увидеть знакомого по Петербургу. – А что так... оставили гвардию?..

– Семейные обстоятельства, уважаемый Аркадий Иванович.

– А сейчас...

– Новое, довольно интересное назначение.

Официант расставлял блюда.

– Не дадут поговорить, – глянув в спину отошедшему от стола официанту, сказал Вяземский.

В этот момент в буфет зашёл запыхавшийся вестовой и тихо передал приказ Розена явиться в собрание.

– Ну вот, и поесть не дадут. А вам, если не особенно торопитесь, предлагаю, я сейчас с этим быстро справлюсь, пройти до офицерского собрания, а по дороге расскажете, что там в высоких штабах... Если ждёте поезд, то в собрании есть телефон.

Адельберг согласился, поскольку мог воспользоваться любым эшелоном даже санитарным в сторону Львова.

Вяземский наскоро, почти не чувствуя вкуса, съел клёцки, ростбиф, правда, – он это отметил – был отличный.

– А в штабах, как раньше говорили, «нестроение», – ответил капитан.

– Что так?..

Пока несколько минут шли до собрания, капитан Адельберг коротко рассказал об общем положении на фронтах. Вяземский слушал.

– Перескажите полковнику Розену? – попросил он и спросил: – А у вас какая задача? Если это позволительно!..

– Задача интересная: с одной стороны, я еду в штаб восьмой армии к Брусилову усилить разведку, но перед этим должен заехать в третью, к РадкоДмитриеву, а с другой... Вы слышали чтонибудь о снайпенге?

– О чём? – не понял Вяземский.

– О снайпенге, снайперах?

– Нет, а что это?

– Союзники передали нам сведения и даже прислали специалиста по сверхметкой стрельбе, – начал Адельберг. – У себя на Западном фронте, во Франции и Бельгии, они обнаружили новый способ ведения войны...

– Какой?

– Германцы стали использовать винтовки со специальным прицелом для выбивания командного состава, офицеров и любого, в кого они успеют точно прицелиться, а стреляют очень метко и быстро...

Вяземского это заинтересовало.

– У них сейчас война уже превратилась из манёвренной в позиционную, когда фронт стабилизируется, и передние линии окопов стоят друг против друга, почти не меняя положения...

– Интересно, – Вяземский слушал внимательно.

– Германцы произвели винтовки с оптическим прицелом, как подзорная труба, прилаживают на специальных замках к винтовке, и стрелок видит свою цель на триста шагов, как на пятьдесят...

– Так, так! – Вяземский вспомнил, что под Лодзью несколько офицеров полка получили пулю прямо в голову.

– Впервые, англичане захватили пленных с таким оружием, а ввторых, они сами стали применять оптические прицелы и стали выписывать своё охотничье оружие из дома, ну и, понятно, их промышленность уже налаживает производство таких винтовок со специальными прицелами для армии...

– Как интересно... – задумчиво произнёс Вяземский, когда они уже подошли к собранию, и подумал: «Точно, надо забирать Четвертакова к себе, если основная задача моего эскадрона – разведка», – а вслух сказал: – Я представлю вас полковнику, не откажетесь рассказать офицерам в собрании то, что вы только что мне поведали?

Когда Вяземский и Адельберг поднялись, офицеров в зале собралось немного. Пока шли, Вяземский обратил внимание, что по центральной улице мимо них с Адельбергом проскакало и пробежало несколько вестовых. «Наверное, что-то срочное!» – подумал он и не ошибся.

Как только вошли, Розен буквально бросился к нему:

– Аркадий Иванович, милейший, прочтите вот это! – сказал полковник и протянул Вяземскому телеграмму, однако тот всё же успел представить капитана Адельберга, и Розен сразу отвлёкся на гостя. Вяземский стал читать и их не слушал, а они говорили, точнее, Розен:

– Так вы на Югозападный фронт? К РадкоДмитриеву или к Алексей Алексеичу?

– Сначала к РадкоДмитриеву, потом к Брусилову.

– Как кстати, любезнейший... – Розен замялся.

– Александр Петрович.

– Александр Петрович! У меня два сына, один, младший, у Радко-Дмитриева, другой у Брусилова, Розен Константин – старший и Георгий – младший. Не откажете передать им... я им сейчас напишу... по записке.

Адельберг кивнул. Розен кинулся к столу и стал писать. Пока он писал, собрались офицеры. Розен, не отвлекаясь от своего дела, обратился к Вяземскому:

– Аркадий Иванович, голубчик, мне ещё три строчки, объявите господам офицерам приказ. – Он поднял руку, в которой держал ручку, с пера была готова упасть чернильная капля. – А я сейчас закончу, чтобы нам не держать нашего гостя...

Адельберг поклонился Розену и промолвил:

– Не беспокойтесь, господин полковник, я в любом случае дождусь.

Вяземский глянул на телеграмму: это был приказ о том, что полку надлежит срочно выдвинуться в направлении Белостока – там полк получит новую диспозицию.

После прочтения в зале возникла пауза – командиры эскадронов ждали того, что сейчас было самым необходимым – пополнения. Первым высказался командир №2 эскадрона ротмистр фон Мекк:

– А я принял только... – ему не дали сказать, офицеры все заговорили разом, и в зале возник шум. Розен оторвался от письма и поднял голову:

– Господа, это приказ, эшелоны должны подать, – он посмотрел на часы, – через сорок минут, максимум час. Аркадий Иванович, прикажите трубить сбор.

Вяземский перевёл взгляд на адъютанта.

Семён Евтеевич положил заготовку на наковальню, достал из сапога бебут, приладил лезвие там, где заготовка из белой становилась красной, и молотком ударил, по насечке переломил надвое; на половине набил канавку; в наковальню воткнул два железных штыря, получившуюся ещё горячую полосу приладил между штырями и стал молотком подбивать один конец, гнуть другой, и на глазах заготовка стала принимать форму подковы.

Иннокентий смотрел.

– Ты пока курни, – сказал Семён Евтеевич. – Тут я сам.

Он ударял молотком по заготовке, повёртывал её то так, то так, опять ударял-постукивал, взял щипцы и, пока подкова была горячая, вывернул и набил на концах и в середине по шипу, пробойником сделал шесть дыр под гвозди и бросил остывать.

– А мне сработаеть такого бебута? – тихо спросил Кешка.

Евтеич повертел свой бебут и сунул его за сапог.

– Сработаю, а што ж не сработать?

– А чё возьмёшь?

Семён Евтеевич положил инструмент, отпил из ковша воды и ответил:

– Я тут часами интересуюсь... – Он не успел договорить, в кузню вбежал младший сын хозяина и заорал:

– *Nieszczęście!* – Он махал руками и дрожал.

– Што за «несчастье», што стряслось? – Семён Евтеевич плеснул из ковша на руки и стал вытирать о передник.

Следом вошёл хозяин.

– Там ваш... – сказал он и сделал замысловатое движение рукой вокруг шеи.

– Где? – Семён Евтеевич сорвался с места, и Иннокентий за ним. Они выскочили из кузни, хозяин завёл их в пустую конюшню, и они увидели, что седельник висит в петле. Семён Евтеевич подскочил, выдернул из сапога бебут и резанул им по сыромятному ремню,

на котором висел седельник, тот стал падать, и Иннокентий только успел перехватить его поперёк туловища.

– От дура, – пыхтел Семён Евтеевич, подхватывая седельника под плечи. – Што удумал! Язви ття в душу.

Они втроем положили седельника на застеленный соломой пол, и Семён Евтеевич кулаками ударил его в грудь, тело седельника дрогнуло и обмякло. Семён Евтеевич некоторое время смотрел, потом заправил вывернутый изо рта багровый язык, провёл ладонью седельнику по лицу и закрыл ему глаза.

– Вот тебе и вот! – тихо промолвил он. – Прими, Господи, душу раба твоего Илизария!

Они сидели и молчали, и тут Кешка вздрогнул: он услышал с улицы сигнал полковой трубы «сбор» и конский топот.

– Час от часу не легче, – вздохнул Семён Евтеевич. – Как же его теперь хоронить, коли сбор трубят?

Иннокентию сказать было нечего. Судя по всему, Красотка уже стояла готовая, и надо ехать в казарму, но он не мог пошевелиться. Семён Евтеевич встал с колен, отряхнул штаны, глядя на седельника, перекрестился, нагнулся, вынул у того из сапога такой же, как его, бегут и подал Иннокентию:

– И ковать не надо! Иди, я тут сам управлюсь, это дело наше, обозное! А медалью свою ты перецепи на шинель.

После оглашения приказа, когда офицеры разошлись по эскадронам, Розен обратился к Адельбергу:

– Аркадий Иванович сказал, что вы знаете обстановку!

– Да, представление имею, – согласно кивнул Адельберг.

– Объясните, что происходит! Присядем, господа!

Адельберг взял чистый лист, перо и нарисовал схему, на которой в верхнем правом углу листа написал «Ласденен», в центре – «Лык», а в правом нижнем углу «Августов». Между названиями городов Ласденен и Августов он нарисовал удлинённый овал и написал «10».

– От Ласденена и вот сюда, до Августова стоит наша десятая армия генерала Сиверса. Двадцать пятого января германцы начали обходить её фланги, вот здесь на северовостоке и здесь – на югозападе. – Он нарисовал дуги, окружавшие правый и левый фланги 10-й армии. – Окружить пока не удалось, наши стали отходить на запасные позиции, однако положение угрожающее. На северовостоке нам зацепиться не за что, там леса и болота, на юге крепость Осовец, там зацепиться есть за что – в тылу крепость Гродно. Сейчас в серьёзном положении оказался двадцатый корпус генерала Булгакова, он в самой середине десятой армии. К югу от него двадцать шестой корпус, и вот здесь на самом южном фланге третий Сибирский стрелковый корпус, а на северовостоке третий армейский корпус генерала Епанчина и Вержболовская группа. Группа дрогнула, и дрогнул третий корпус Епанчина и отходит на восток. Таким образом, двадцатый корпус Булгакова оказывается на острие атаки германцев. Это сведения на вчерашний день, когда я покидал ставку. Думаю, – Адельберг закурил, – ваш полк высылают на усиление третьего сибирского, вам туда самая кратчайшая дорога. А записки вашим сыновьям, Константин Фёдорович, я постараюсь передать.

– Ну вот и хорошо, голубчик, вот и хорошо, – поблагодарил Розен, долго смотрел на схему, потом перевёл взгляд на Вяземского. – Ну что, господа, надо собираться?

Вяземский кивнул и поднялся из-за стола, поднялся и Адельберг.

– Аркадий Иванович, – попросил Розен, – пришлите ко мне адъютанта!

Когда Вяземский и Адельберг ушли, Розен в ожидании адъютанта Щербакова снова подошёл к окну. Уже смеркалось, погода стояла и без того мрачная, и серый воздух сгустился.

Несколько окон в домах напротив осветились, но ещё не отбрасывали светлых пятен на снег, по улице проходили редкие прохожие.

«Да, – думал полковник, – как там мои мальчишки? Нас, Розенов, осталось всего трое. – Он вспомнил похороны жены, в такую же погоду семь лет назад в Симбирске, там стоял полк, и мальчишки учились в кадетском корпусе. Им с супругой хотелось внуков, они мечтали: – А ведь Константин уже мог бы и жениться, если бы не служба и не война, но кто же ему, поручику, это позволит, ему ещё до срока три года!»

В зале темнело быстро, быстрее, чем на улице. Розен смотрел в окно, и вдруг его внимание привлёк всадник, это был унтерофицер №2-го эскадрона, он его узнал – Четвертаков.

«Надо подписать на него представление и отослать в дивизию!»

Четвертаков скакал галопом, изпод копыт летел снег, сам Четвертаков сидел чётком, прямо, высоко подняв голову, поводья в левой руке, а в правой плётка на отлёте.

Когда Четвертаков подъехал под светившееся окно в доме напротив, Розен увидел, как на его груди блеснула медаль.

В утренних сумерках на запасных путях станции Белосток разгружались №1,2 и 3 эскадроны, медицинское хозяйство и команда связи. Восемь офицеров молча наблюдали за разгрузкой. Розен обратился к фон Мекку и командиру №3-го эскадрона ротмистру Дроку:

– Господа, проследите, а мы с подполковником поедem на станцию к военному коменданту, может, пришли какие-то указания, надеюсь, к чаю вернёмся!

К Розену подошёл Курашвили:

– Господин полковник, разрешите, я пока гляну санитарные эшелоны? Возможно, рядом ктонибудь стоит!..

– Идите, голубчик, да долго не задерживайтесь, чтобы не отстать ненароком.

Курашвили поклонился, через площадку пустого вагона стоявшего рядом эшелона он перешёл на другую сторону. Порожний эшелон на следующих путях Курашвили преодолел таким же способом – железнодорожный узел Белосток был большой, и путей много. На четвёртых или пятых путях стоял санитарный поезд, паровоз подпускал пары, а рядом со вторым от паровоза вагоном Курашвили увидел двух военных чиновников. Он направился к ним, представился, они тоже представились. Это были комендант и главный врач санитарного поезда №1 гродненского крепостного лазарета. Поезд ожидал отправки, они прибыли сюда час назад забрать раненых из 10й армии.

– Пекло, коллега! – повествовал комендант. – В десятойто... оттуда везём... жмёт германец!

– Много обмороженных и с потерей крови, – добавил главный врач.

Курашвили слушал, курил, комендант смотрел в сторону паровоза, он ждал отправки, главный врач стоял спиной к вагонам. На подножках курили санитары и раненые. В какой-то момент Курашвили увидел, что санитары и раненые зашевелились, стали оглядываться и сторониться, они раздвинулись, и на площадку вагона вышла сестра милосердия. Один санитар прыгнул и подал ей руку, сестра сошла на землю и решительными шагами стала приближаться. Курашвили смотрел на сестру и не мог пошевелиться, это была...

Худощавый комендант увидел её и поджал губы. Крепыш лет пятидесяти, главный врач обернулся и стал чертыхаться:

– Принесло на мою голову, ведь не хотел соглашаться! – Он бросил папиросу под ноги и стал затаптывать. – И не соглашусь!

Сестра милосердия подошла, кивнула всем, взяла главного врача под локоть и отвела на несколько шагов. Комендант тоже бросил папиросу. Курашвили о своей забыл...

Комендант, обращаясь к Курашвили, тихо промолвил:

– Всем хороша, да только... – Он не успел договорить, паровоз дал гудок, раздались два свистка и эшелон задрожал. Шептавшиеся сестра и главный врач махнули друг на друга руками, и сестра с недовольным лицом пошла к вагону, откуда с площадки ей уже призывно махали и – Курашвили это отчётливо увидел – радостно улыбались раненые и санитары. Они протянули ей руки, подхватили, и сестра исчезла в тамбуре.

Главный врач, тыкая пальцем, проходя мимо Курашвили к поезду, в сердцах высказался:

– Обещался её матушке, моей сестрице, присматривать, и с неё взяли обещание не своевольничать, так, представляете, рвётся в полковые сёстры, прямо как сноровистая лошадь постромки обрывает, говорит, что вот, мол, разгружается какой-то полк, так она готова прямо в этот полк... Приедем в Гродну, спишу от греха подальше!

Когда с разгневанным видом сестра проходила мимо Курашвили, она мельком глянула на него и неожиданно сунула ему в руки какуюто книжицу, но Курашвили о книжице тут же и забыл – только что он лицом к лицу столкнулся с Татьяной Ивановной Сиротиной, девочкой, девушкой-гимназисткой из соседнего с ним дома, что во дворе доходного дома лесопромышленника Белкина.

Только через секунду Курашвили осознал, что произошло.

Он побежал за Татьяной Ивановной, но поезд уже тронулся, и санитары с подножек удивлённо смотрели на Курашвили и ничего не делали, тогда Курашвили остановился и стал заглядывать в окна, проходившего перед его глазами вагона, но ничего не увидел.

Ошеломлённый Курашвили проводил взглядом санитарный поезд, стало пусто, и он тем же путём вернулся обратно, только эшелона, на котором приехал его полк, уже не было. Он стал осматриваться. Железная дорога проходила к западу от Белостока, а ещё западнее железнодорожных путей простиралось широкое поле с куртинами высоких кустов. Эскадроны успели перейти на это поле, и он увидел авангард своей медицинской части: две повозки с красными крестами на брезентах – фуру и двуколку. Надо было идти к ним, но от только что увиденного подкашивались ноги и хотелось сесть где-нибудь на пне и всё обдумать. И закурить. Он пощупал на груди шинель, там во внутреннем кармане лежали письма.

«Вот это да! Вот это да!» – билось в мозгу.

Это «Вот это да!» возникло в тот момент, когда он остановился перед уходящим санитарным поездом. В сознании всё смешалось: он то видел, как Татьяна Ивановна идёт мимо него к главному врачу, оказавшемуся её дядькой. То он видел, как она переходит через ставший родным Малый Кисловский переулочек на противоположную сторону к Никитской улице в Москве. Видел поразному: по Малому Кисловскому он не мог разобрать, во что она была одета и даже что это было – зима или лето. Он видел только её лёгкую изящную фигурку, а тут! А тут она шла прямо на него. Тут она была ещё более изящная, совсем близко, в белой, скреплённой под подбородком головной накидке, длинной, ниспадавшей до локтей; в наброшенном на плечи пальто, под которым белел передник. Она была похожа на монашенку, светлую, с крестиком – вышитым красными нитками на груди.

Сесть было негде, не торчал ни один пенёк. Курашвили остановился и увидел, что рядом с повозками возятся фигуры, одна фигура распрямилась во весь рост и посмотрела в его сторону. Это был Клешня. Теперь, даже если бы пенёк появился, сесть уже было бы нельзя. Он одёрнул шинель и нащупал что-то в кармане и вспомнил, что это книжка, сунутая ему в руки донельзя рассерженной на своего дядьку сестрой милосердия Татьяной Ивановной Сиротиной. Он её такой ещё не видел, а она его не узнала.

Курашвили огляделся. Между ним и повозками лежал нетронутый снег, он поискал глазами что-нибудь вроде колеи, нашёл и пошёл к повозкам, к лагерю, на ходу вынул книгу, это был томик Чехова. Он посмотрел и на уголке твёрдой обложки обнаружил пропитавшее матерчатую поверхность засохшее пятно крови. «Книжка какого-нибудь раненого, – подумал он и подумал ещё: – Умершего раненого! Вот это да!»

Вокруг фуры ходили и что-то разглядывали старший фельдшер, Клешня и кузнец. Курашвили остановился в нескольких шагах, он держал в руках книжку и, делая вид, что ещё занят, стал слушать и, как бы невзначай, поглядывать на эту странную компанию. При его приближении все трое остановились, но, увидев, что врачу не до них, продолжали своё дело. Из их разговоров Курашвили понял, что треснула передняя поворотная ось фуры, это была большая беда, потому что поменять ось не было возможности, вокруг были только поле и кусты. Это встревожило Курашвили, компания перестала казаться ему странной, потому что фура являлась слишком важной частью его хозяйства. первых эшелонах, в которых приехали №№1, 2 и 3 эскадроны, места хватило только для части медицинского хозяйства полка, остальное осталось в БялаПодляске и должно прибыть следующими эшелонами. Слава богу, что основные медикаменты и часть перевязочного материала он взял с собой. А теперь получалось, что если ось не починят, значит что, бросить эту часть, самое нужное? С кем? На кого? Он сунул в карман книгу и подошёл:

– Сделайте шину на ось, шпата много, а дальше, может быть, удастся чтонибудь съубить по дороге подходящее.

Старший фельдшер быстро смекнул, объяснил кузнецу про торчащие кругом кусты орешника, и тот взялся за топор.

Курашвили, пожимаясь от влажного холодного ветра, залез в двуколку, накинул на ноги полость и стал думать о том, что произошло.

Алексей Гивиевич Курашвили, тридцати лет от роду, был москвичом и потомственным врачом. Его предки давно перебрались из Грузии, его фамилия звучала гордо – «Сын Куры», но эти русские ничего не понимали в старинных грузинских фамилиях и вечно путали гордую горную реку, на которой стоял тысячелетний Тифлис, с домашней птицей. Отец Алексея, Гиви Нодарович Курашвили, служил приватдоцентом на медицинском факультете Московского университета и имел травматологическую практику, а десять лет назад ему предложили кафедру в Военномедицинской академии в СанктПетербурге, и они покинули Москву. Алексей пошёл по отцовскому пути – кончил академию по кафедре военнополевой хирургии и выпустился в госпиталь Московского военного округа. Жил при госпитале, а два года назад перебрался в центр и снял квартиру в доходном доме лесопромышленника Белкина, что в Малом Кисловском переулке, в двух шагах от Арбатской площади. До госпиталя было довольно далеко, но жить в Лефортове ему наскучило. Дом в Кисловском, построенный как поставленный набор ученический пенал, своим парадным подъездом выходил в переулок; под левой стеной у него располагался обширный рабочий двор театра «Интернациональный», бывший «Парадиз».

Справа, как раз под окнами снятой Алексеем Курашвили квартиры, находился уютный дворик соседнего доходного дома, отделённого каретным проездом и коваными воротами в переулок. В этом соседнем доме жила Татьяна Ивановна Сиротина. Там, во двореке он её увидел первый раз, когда разгружали мебель её семьи, и потом, когда она шла в гимназию, возвращалась из гимназии, гуляла с собачками, сидела на лавочке с подружками-гимназистками, в общем, часто. Комнатная девушка сопровождала её вплоть до последнего класса, после чего Татьяне Ивановне, видимо, была предоставлена свобода.

Курашвили сидел в двуколке и думал, глядя перед собой на серый, мрачный изнутри брезентовый полог, и в этот момент его внимание отвлёк Клешня, тот стал отвязывать караван из трёх лошадей, личный обоз полковника с его гардеробом, винным припасом и столовой посудой. Клешня увидел, что Курашвили смотрит, козырнул, сказал: «Здравия желаю, ваше благородие» – и потянул головную лошадь. «Нет чтобы сказать: „Доброе утро, Алексей Гивиевич!“ или хотя бы „Гирьевич!“ Вояка!» Курашвили был недоволен, его отвлекли от мыслей, от только что увиденного, неожиданного, непонятного и тревожного: «Полковая сестра милосердия! Да что же это делается? А может, прямо, чёрт побери, к нам в полк?»

Караван тянулся за Клешнёй, ему стало неловко за то, что он отвлёк врача, он видел, что тот остался недоволен, но как было не поздороваться, а с другой стороны, уже настало время заняться своим прямым делом, ведь как говаривал Розен: «Война войной, а обед по расписанию!» – но Розен вторую часть фразы, как правило, недоговаривал, замолкал и смотрел на господ офицеров, и все знали, что должно последовать в финале этой армейской мудрости, и надо было смеяться. Таких недоговорок у полковника было много, например: «Ученье свет, а...», а заканчивалось странно: «...а неучёных – тьма!» Это смешило офицеров и придавало суровому полковому быту оттенок семейности. Полковник не доверял обозам, всегда запаздывающим или застревавшим так, что их было не вытащить, или торчавшим там, где они были не нужны, и весь свой скарб возил за собой. Это был его «личный обоз I разряда».

«Война войной... а неучёных – тьма!» – соединил Клешня недоговорки полковника, испугался собственного своемыслия и оглянулся, но близко никого не было, и никто его дерзости не мог услышать, и он заторопился к лагерю, кострам и палатке офицерского собрания, потому что полковник вотвот явится, а «обеда по расписанию» ещё нет. И тогда будет ему, Клешне, нагоняище.

Курашвили смотрел ему вслед, в голове было пусто и холодно, как в деревянном сарае, из которого наружу вынесли и все дрова, и старую мебель.

Розен и Вяземский ехали. Розен был озабочен и недоволен. Вяземский молчал.

Розен был недоволен тем, что железнодорожный комендант, совсем ещё молодой подполковник, не обратил на него никакого внимания и всё время что-то кричал в трубку телефона, называл длинные номера, а потом поднимал палец и слушал, что ему ответят. Ещё рядом стоял телеграфный аппарат Юза и всё время стучал, стучал, стучал...

Вяземский тоже был озабочен.

От коменданта они поехали к начальнику гарнизона, и там Розен получил телеграмму.

На обратном пути Розен читал телеграмму и что-то прикидывал в уме, Вяземский ждал. Когда они уже подъезжали к путям и в четверти версты стали видны расположившиеся лагерем эскадроны с санитарными повозками, Розен заговорил:

– Вы были правы, Аркадий Иванович! Всё, что вам удалось узнать, пока я ждал, когда же удостоит меня своим вниманием этот канальяподполковник, – правда. Там, – Розен махнул рукою куда-то на север, и в нескольких шагах от железнодорожной насыпи натянул поводья и перевёл своего арабчика на шаг, – крепко теснят в южном направлении десятую армию уважаемого Фаддея Васильевича Сиверса. Судя по тому, что здесь написано, – он передал телеграмму Вяземскому, – нам предстоит встать на правом фланге дивизии, то есть на самом краю нашей двенадцатой армии, на стыке с левофланговым десятой армии третьим Сибирским стрелковым корпусом... И дела там совсем невесёлые...

«Десятая армия Сиверса, – слушая полковника, думал Вяземский. – Теснят в южном направлении...»

– Вот что, голубчик, завтрак без вас всё равно не начнём, вы только особо не задерживайтесь, а поезжайте прямо сейчас к коменданту железнодорожной станции и отбейте телеграмму: пусть оставшиеся эскадроны не разгружаются тут в Белостоке, а тянут как можно дальше на север, и чем дальше от Белостока, тем лучше. Пусть дотянут хотя бы до станции Мёнки или прямо до Осовца. Наша задача, когда первый, второй и третий эскадроны разгрузятся, не терять времени, двигаться по шоссе вдоль чугунки в том же направлении, и, может быть, они нас обгонят, или мы перехватим их по пути. В Осовце, если других указаний не будет, повернём налево на Лёмжу, дивизия выдвигается туда же. И ещё, Аркадий Иванович, вопрос о назначении Четвертакова вахмистром и его переводе в ваш эскадрон считайте решённым.

Вяземский согласно кивнул.

– А этого вашего, нынешнего...

– Жамина! – подсказал Вяземский.

– Да, Жамина, поскольку не хватает офицеров, назначим в учебную команду. Людей нет, придётся тасовать, ничего не поделаешь! Как ни растягивай баян... только лишь порвёшь к... – Розен не договорил, но Вяземский, зная привычку графа, и без того всё понял и улыбнулся, с таким решением он был согласен. Он козырнул, поворотил Бэллу и оглянулся. Розен аккуратно перевёл арабчика через рельсы, за рельсами тут же дал шпоры, взмахнул плёткой, и арабчик пошёл крупной рысью сначала поперёк шоссе, а потом по снежной целине. Шедшие по шоссе беженцы с телегами и скарбом почтительно остановились и расступились. Полковник в свои пятьдесят два года красиво сидел в седле и отменно выглядел, у него была отличная кавалерийская выправка.

Доехав до коменданта, диктуя телеграмму и возвращаясь к эскадронам, Вяземский в уме складывал сведения, которые получил.

А сведения были вот какие, и они мало отличались от того, что вчера рассказал капитан Адельберг.

Германцы к фронту 10й армии генерала Сиверса подтянули крупные соединения: две свои армии. Соединения состояли из резервных и ландверных корпусов, но уже сами названия «резервный» и «ландверный», то есть «местный», то есть почти что «ополченческий», никого не обманывали – это были старые крепкие солдаты и офицеры с традициями и регулярной подготовкой, по большей части местные жители, а им было за что сражаться.

Вяземский выяснил, что правый северо-восточный фланг 10й армии – 3й армейский корпус генерала Епанчина – уже охвачен немцами, сбит и отступает на юго-восток. Прикрывавшая этот фланг конная дивизия генерал-лейтенанта Леонтовича своей задачи не выполнила и замялась где-то в лесах. Южный левый фланг потеснён германским 40м ландверным корпусом и сейчас с арьергардными боями движется на восток. Все корпуса отступающей 10й армии сходятся по радиусам к центру в городке Августов, за которым простирается большой лес. Дороги завалены сугробами, войска отбиваются днём, отходят ночью, измотаны и голодны, обозы и артиллерийские парки частью попали в плен, частью рассеяны или ушли в тыл, германцы наседают. Беда была в том, что достаточного управления войсками ни со стороны главнокомандующего Северо-Западным фронтом генерал-адъютанта Рузского, ни со стороны командующего 10й армией генерала от инфантерии Сиверса нет. Вяземский это чувствовал, и это волновало. Успокаивало только то, что в тылу 10й армии стоят крепости Ковно и Гродно, а южнее порядочно оборудованная, хотя и недостроенная крепость Осовец. Однако если 10я армия не остановится и не даст достойного отпора противнику, эту битву можно считать проигранной.

Полк Розена должен занять позицию между 10й и 12й армиями.

«Хорошо! – думал Вяземский. – Мы выйдем на фланг, а если десятую уже сомнут, значит, между нами окажется большой разрыв, и туда...» На этом Вяземский остановил свои размышления и пришпорил Бэллу.

Германцы начали наступление 25 января.

Сегодня – 3 февраля.

Курашвили услышал топот копыт, выглянул изпод брезента и подумал: «Вовремя Клешня занялся делом». Он увидел, как Розен выехал с целины на натопанную эскадронами дорогу, дал плетё и ферт, слегка расставив локти и удерживая мизинцем левой руки поводья, пролетел мимо Курашвили, подскакал к палатке офицерского собрания и спрыгнул с коня.

Стоявшему у палатки Клешне показалось, что полковник и его араб были в полёте одновременно. Он восхищённо смотрел на уже растаявший в воздухе след этого двойного полёта и вдруг услышал свистящий шёпот:

– Жрать, каналья, чего вылупился?

Клешня вздрогнул – это был командир 2го взвода №2-го эскадрона корнет Введенский, появившийся изза спины неожиданно, и Клешня его не видел.

Розен прошёл в палатку, а за ним, грозя Клешне кулаком, проскочил Введенский.

«А у меня всё готово», – подумал Клешня и пожал плечами.

– Што жмёшься? Команды не слышал? – То, что он сейчас услышал, снова было неожиданно, и он опять вздрогнул. Это был вахмистр №1-го эскадрона Жамин. Жамин выпятил грудь и встал, как на караул, около входа в палатку офицерского собрания.

Однако поднятая Введенским и так неожиданно поддержанная Жаминым буря: «Куда конь с копытом, туда и рак с клешнёй!» – подумал про обоих Клешня, улеглась, и он занялся своим делом – подавать офицерам утренний чай.

Курашвили тоже видел полёт Розена – миг любования, – он посмотрел в сторону Клешни, Клешня в этот момент посмотрел в сторону санитарных повозок, они с Курашвили встретились взглядами и стали восхищённо качать головами, морщить лбы и двигать бровями.

Вернувшись, Вяземский за остававшиеся несколько минут до завтрака прошёлся между палатками своего эскадрона, он был недоволен: «Уже успели растянуть, отдыхать собрались, черти», – мысленно выругался он и увидел Четвертакова. Четвертаков тоже увидел подполковника, подбежал и откозырял.

– Принимайте хозяйство, – сказал он Четвертакову. – На еду пятнадцать минут. И готовьте погоны.

Подав чай и закуски, Клешня и денщики вышли. Командир №3-го эскадрона ротмистр Евгений Ильич Дрок слушал исходившую от завтракавших офицеров тишину и закусывал. Всё было скверно, и все были недовольны – полк настоящего пополнения не получил.

В БялаПодляске, пока стояли полторы недели, он подключился к пантофельной почте, и местные жида донесли о том, что с 25 января делается между Сувалками и Августовом – там, где находилась 10я армия генерала Сиверса. И Дрок знал всё, что знали евреи.

Пантофельная почта была удивительным произведением местечковых контрабандистов, она приносила сведения о событиях, когда события ещё только должны были случиться. Еврей, торопясь оповестить своих, так спешно садился на коня, что часто забывал обуться и скакал босым, а его жонка бежала вслед за ним и размахивала расшнурованными пантофелями.

Евреи сообщили Дроку, что после непонятного итога сражений в Восточной Пруссии в конце лета прошлого года командовать германскими войсками приехал сам Гинденбург, а начальником штаба у него Людендорф и что они чтото затевают. Это было евреям известно давно. Ротмистра Дрока в это время ещё не было в БялаПодляске, он был сначала в ВаршавскоИвангородской, а потом в Лодзинской операциях, а когда приехал, сведений набралось столько, что бялаподлясских жидов распирало, и они не знали, куда их девать. И всё это, чтобы не выслали. Тутто Дрок и начал пить с ними их жидовскую водку и попался: впервых, этот никому не известный офицермоскаль пьёт их водку, не спрашивая рецепта, а она приготовлена особым холодным способом, а вовторых, он слушает. Такого с жидами не было со времен Александра Первого и Наполеона, и они стали говорить, и им было всё равно, что они видят этого ротмистра первый раз. И они точно знали, что последний, потому что Дрок по несколько дней сидел в БрестЛитовске и получалполучалполучал, а правильнее будет сказать – ждалждалждал пополнения. Со своей стороны, Дрок точно знал, чем можно потрафить простому человеку: пей с ним водку, не кичись и слушай. Научил его этому, как ни странно, поручик Адельберг в 1905 году, когда они познакомились перед неудачным Мукденским сражением. Егерь, молодой лейбгвардии подпоручик, переведённый в армию поручиком, Адельберг слу-

жил по разведочной части в штабе дивизии, знал покитайски и разговаривал с местными жителями, где ласково, а где и со строгостью. Адельберг приносил в дивизию много интересного.

Нынешняя война затягивалась, и Евгений Ильич, потомок целого перечня почётных граждан горячесоленосладкой солнечной Астрахани, сделал просто: в БялаПодляске он зашёл в жидовскую лавку и купил водки и поселился на жидовской квартире. Всё остальное сделали евреи, и Дрок был в курсе всего. «Хорошие люди, – думал про них Евгений Ильич. – Почему бы им в своё время, как я их сейчас, было не послушать своего же Иисуса! И была бы у них приличная вера. А то верят из двух Заветов в один, и тот Ветхий. Какаято прямо половинчатость!» А евреев всё же высылали, и Дрок, исходя из чувства благодарности к ним, считал, что это несправедливо.

Из офицеров полка Дрок делился с Вяземским, потому что знал его как человека широких взглядов, только не мог ему простить, что вчера капитан Адельберг проехал мимо. Но никто не был виноват, все трое они не знали, что знакомы между собой. Когда Адельберг был в БялаПодляске, Дрок ещё занимался новобранцами в Бресте.

Какието сведения выцеживал и Вяземский, и когда они с Дроком обсудили, то пришли к выводу, что необходимо свести всех боеспособных драгун воедино, полностью укомплектовать первые четыре эскадрона, часть опытных унтерофицеров и вахмистров при одномдвух оберофицерах перевести в №5 и №6 эскадроны и сделать учебную команду. Неопытных, необученных нижних чинов не было смысла вести в бой на прямую погибель. Розен вначале и слышать не хотел и хотел сначала всё утвердить в дивизии, но потом согласился, что в случае неуспеха никто не станет слушать о трудностях полка, а в случае успеха – победителей не судят.

Дрок убедил Вяземского доложить предложение Розену самолично, после Розена Дрок был следующим по возрасту, а Розен слыл как человек ревнивый.

Евгений Ильич закусывал и, скрываясь, прихлёбывал. Он незаметно перелил коньяк из солдатской фляжки в серебряный стакан и выпивал не морщась. Евгений Ильич был небольшого роста, крепкий, чернявый, с висячими усами с проседью, проседь была и на висках, но его сорока семи лет ему никто не давал. Он был лихим наездником, интересовался нововведениями, пил лихо, как въезжает гусарский полк в какуюнибудь Сызрань, уважал героя наполеоновских войн Дениса Давыдова, бывало, цитировал из него любимое «а об водке ни полслова» и стрелял отменно. За фамилию офицеры прозвали его Плантагенет, а за верхний передний зуб, который был больше соседнего и нависал, солдаты прозвали его Зуб. С офицерами Плантагенет был со всеми ровный, себя называл «старым тренчиком», с нижними чинами суровый, но не бил. И матерился виртуозно. Если бы не война, он бы уже вышел в отставку.

Розен вытер губы, бросил салфетку и распорядился:

– Выступаем через пятнадцать минут. – Он посмотрел на часы. – Идём походной колонной по шоссе вдоль железной дороги. Порядок на сегодня: первый взвод первого эскадрона в разведке. Второй – в охране! Третий эскадрон – в арьергарде. Корнета Введенского оставляю при военном коменданте на станции для связи! – Он обратился к корнету, тот застыл со стаканом в руке: – Принимать эскадроны с вами остаётся вахмистр, как его?.. – Он обратился к Вяземскому.

– Жамин, – подсказал Вяземский.

– Из лучших стрелков и тех, кто имеет охотничий опыт, – Розен снова обратился к Вяземскому, – набираем команду, под вашу руку! Ваша инициатива, уважаемый Аркадий Иванович, вам и командовать. И пусть их подучит этот ваш...

– Четвертаков!

– Да, он! Вопросы имеются, господа офицеры?

Офицеры молчали.

– Тогда с богом! Где отец Илларион?

С высокого перрона белостокского вокзала вахмистр Жамин видел, как удаляется его полк, постепенно превращаясь в длинную чёрную полосу, смешиваясь с встречаемыми беженцами и исчезая в низкой белёсой дымке. Полк уходил без него, и от этого Жамин страдал сердцем. «Эх, черти полосатые!» – звучало в его голове. Жамин был обижен. Из первого эскадрона, в любом полку лучшего и первейшего, его перевели помощником начальника учебной команды, и это вместо того, чтобы проявлять геройство в кровопролитных боях и достигать наград, которые полагались бы ему за дела.

Он начал служить, как все – нижним чином, но своим старанием, прилежанием и дисциплиной быстро дошёл до унтерофицерских чинов, а сейчас уже вахмистр. Драгуны его не любили как злослова и драчуна, но ему это было всё равно.

Фёдор Гаврилович Жамин был родом из деревни Старица Тверской губернии. Его отец владел двумя рыбными оптовыми складами, был грамотный, чтит предков – дедов и прадедов и своим хозяйством распоряжался со всей широтой и строгостью. В хозяйстве, помимо складов, припасов и оснастки, числились жена, две дочери и три сына, старшим из которых был Фёдор. И в семье, и в округе Фёдор считался опорой и наследником отца, а он и был во всём опорой. Кроме как занятием рыбным промыслом, Жамини осенью добывали лося, по черноследу гоняли лисиц, зимой поднимали медведя, и отец не скупился сыновьям на учёбу. И так всё шло как по писаному, но три года назад, когда Фёдор с отцом и братьями приехал в Тверь разгружать рыбу, Фёдор влюбился в дочь отцовского торгового партнёра, хозяина одного из тверских оптовых складов. Девушка была с характером, батюшка её любил и нанимал дорогих учителей. Она учила французский язык и танцы и ниже этого никого не хотела ни знать, ни видеть. Фёдор привлёк на свою сторону её компаньонку и узнал, что Леночка, Елена Павловна, мечтает выйти за офицера и дворянина, она была богатая наследница, и офицеры Тверского гарнизона, особенно из разорившихся дворян, уже начинали вокруг неё выписывать кругами, однако отец был категорически против «именитой голытьбы» и приискивал жениха из своих, из купеческих. Конечно, у Жамина отца с отцом Елены никакого сговора не было, Елене замуж было ещё рано, всего пятнадцать. Сроки воинской службы сократили до четырёх лет, и Фёдор решил, что он откроется своей возлюбленной и уговорит её ждать, а со службы и сам вернётся офицером, и не важно, что «унтер». Подругому распорядилась планами Фёдора война, но от этого ему было только лучше, потому что он вернётся домой ещё и с наградами. Война и вовсе оказалась Фёдору Жамину на руку – ушёл стоявший в Твери пехотный полк, а вместо этого открылись госпитали, но ведь там-то только увечные. Об этом ему писала компаньонка Елены. Самому написать Елене Павловне он решил или когда получит первую награду, или в случае внесения его «персоны» в списки на унтерофицерский чин. Он был так увлечён Еленой Павловной, что не почувствовал личной заинтересованности к себе её компаньонки.

Полк на глазах Жамина растворился, он перекрестил его вслед, повернулся лицом к вокзалу и пошёл искать корнета Введенского.

Корнет Введенский был слабодушный. Офицеры полка видели это и очень жалели его. После Лодзинского дела, ввиду убыли офицерского состава, Введенского из субалтернофицеров назначили командиром 2го взвода №2-го эскадрона, но сам он после пережитого ужаса, в особенности после гибели своего друга и однокашника корнета Меликова и сожжения немцами Могилевицы и леса, мечтал получить не слишком увечное ранение, чтобы с честью окантаться в глубоком тыловом госпитале на долгом излечении. Розен об этом догадывался и назначил его начальником учебной команды, с надеждой, что, может быть, корнету удастся найти

себе место при какомнибудь штабе или в тыловой службе. На войне такие люди могли только подвести.

Сорок вёрст до станции Моньки полк преодолел в один переход.

4 февраля на станции уже ждало пополнение, хотя и далеко до штатного расписания, и полк выдвинулся к крепости Осовец.

В штабе крепости находились комендант генераллейтенант КарлАвгуст Александрович Шульман, полковник Розен, подполковник Вяземский, адъютант полка поручик Щербаков и несколько офицеров гарнизона.

Розен передал телеграмму Щербакову:

– Николай Николаевич, теперь это ваше хозяйство. Итак: требуется восстановить связь с третьим Сибирским корпусом и после этого идти на соединение с дивизией на Ломжу! Ну что ж, на Ломжу так на Ломжу, как мы и думали! Аркадий Иванович, разработайте маршрут.

Вяземский изучал карту. По сведениям коменданта Осовца, 3й Сибирский корпус попытался зацепиться за городок Граево, но был сбит 40м ландверным корпусом генерала Литцмана. Сейчас 3й Сибирский корпус мог находиться северовосточнее Граево.

– Скорее всего, что так. – Генерал Шульман тоже смотрел на карту. – По данным разведки моего передового отряда, части третьего Сибирского корпуса отбиваются от германцев уже вот здесь, в районе Райгорода, это от Граева ещё около тридцати вёрст на северовосток. Поэтому вам, Константин Фёдорович, видимо, придётся действовать летучими отрядами. Между этими двумя городками высокая плотность германских войск. 2 февраля мой отряд оставил Граево, и его заняли германцы – части восьмидесятой резервной дивизии сорокового ландверного корпуса. Мы стреляли по нему, думаю, что у них в этом месте пока неразбериха. Четыре полка пятьдесят седьмой пехотной дивизии Сибирского корпуса и две сотни сорок четвёртого казачьего полка переданы мне, и сейчас находятся вот здесь, – генерал показал на карту, – на линии Цемноше – Белашево, шесть вёрст на север от Осовца на шоссе в Граево. Как раз эта дивизия, – генерал распрямился, – и должна была заполнить промежуток между флангами десятой и вашей двенадцатой армией. И получается так, что пятьдесят седьмая дивизия и есть левый фланг Сибирского корпуса. Так стоит ли вам, Константин Фёдорович, отправлять разъезды и пакеты за тридцать вёрст... в постоянно меняющейся обстановке?..

Розен думал, он смотрел на карту, потом поднял глаза на генерала и ответил:

– У меня есть приказ установить связь не с пятьдесят седьмой дивизией, а с командованием корпуса, генералом Радкевичем, а приказ есть приказ.

Шульман понимающе кивнул:

– Воля ваша, Константин Фёдорович. Тогда предлагаю выехать на рекогносцировку, на линию Цемноше – Белашево – Пшехёды!

Через 20 минут по высокой насыпной дороге, которая от обширных, занесённых снегом болот Осовца вела на север в Граево, группа офицеров в сопровождении ординарцев выехала на северную околицу деревни Цемноше, оседлавшую шоссе и протянувшуюся влево до железнодорожной ветки. Офицерам в бинокли было видно передвижение германских войск на расстоянии от трёх до шести вёрст на севере и на западе. Розен, Шульман, Вяземский и Щербаков смотрели на север и северовосток в том направлении, где находились городки Граево и Райгород.

– Само шоссе, Константин Фёдорович, германцами уже занято, и не пройти даже по параллельным просёлкам. А видите, справа обширная долина с перелесками и кустарниками? Там много накатанных санных дорог, они соединяют хутора и выселки, по ним можно

дойти до самого Райгорода, если ночью. Германцы наступают с севера и запада, а восточная сторона шоссе пока ещё за нами, так что я думаю...

«И выходить надо с Заречного форта, оттуда практически по прямой...» – слушая Шульмана, прикидывал Вяземский и готов уже был высказать свое мнение, в это время заговорил Розен:

– У вас на правом фланге есть фортеция, как она называется... бишь... – Он отпустил поводья. – Как же она?..

– Заречная... – начал Шульман, в десяти саженях впереди на дороге взорвался снаряд, он поднял высокий столб земли и камней, прилетевший оттуда осколок срезал Розену левую руку, рука выпала на землю из повисшего, наполовину разрезанного рукава шинели; Розена взрывной волной выкинуло из седла. Его араб сначала присел на задние ноги, но, видимо почувствовав пустоту в седле, сделал большой скачок и погнал по дороге вперёд бешеным галопом.

«Испугали араба, с ума сошёл!» – была первая мысль Вяземского. Когда прошла оторопь после взрыва, он спрыгнул и побежал к полковнику. Рядом с Розеном уже сидели Щербаков и Шульман. Щербаков вскочил и заорал:

– Санитары, мать вашу!

Спокойный Дрок достал индивидуальный пакет, сказал Шульману: «Разрешите!» – присел рядом с Розеном, отрезал остаток рукава и стал туго обматывать ему руку под самое плечо. Вяземский видел, как бившая толчками кровь стала вытекать всё меньше и, когда Дрок взялся бинтовать вторым бинтом, почти перестала, только бинт набух. Сверху над головами стали хлопать шрапнели, на всадников посыпались пули и осколки. Появились раненые, санитары 228го Елифанского полка выкатили из перелеска санитарную двуколку, уложили Розена и погнали в сторону крепости.

Вяземский был растерян, он онемел и пришёл в себя только с мыслью: «В крепости Курашвили! Не даст умереть!»

С дороги надо было уходить, потому что германцы пристрелялись.

После того как в крепостном лазарете Вяземский увидел Розена, в беспмятстве лежащего на столе, и Курашвили, колдующего вокруг раненого с другими врачами, он немного успокоился, перешёл в штаб и велел вестовому вызвать Четвертакова.

Шульман пригласил Вяземского к карте, и тот показал на форт Заречный:

– Если отсюда, КарлАвгуст Александрович?

– Не ломайте себе язык, Аркадий Иванович, в феврале обойдёмся без Августа...

Вяземский про себя улыбнулся и согласно кивнул.

– Только отсюда, – согласился генерал Шульман. – Там через пойму Бобра и эти бесконечные польские болота проложена гать, а больше никак не пройти. Кого пошлёте?

– Есть у меня разведчик, – не отрываясь от карты, ответил Вяземский.

Адъютант штаба крепости привёл Четвертакова. В первую секунду Четвертаков растерялся от большого количества незнакомых офицеров, но увидел Вяземского.

– Подойдите! – приказал ему Вяземский.

Разговаривали вчетвером: Шульман, крепостной инженер штабскапитан Сергей Александрович Хмельков, Вяземский, а Четвертаков слушал.

– Рекомендую всё же начать движение не с Заречного, а от опорного пункта Гонёндз – это наш самый восточный узел обороны. От него левый берег Бобра сухой и песчаный. Надо пройти две версты, там наслан мост по льду через Бобра, и оттуда надо двигаться всё время на север две с половиной версты. Дальше параллельно идут два русла – Лы́ка и Ды́блы...

– Понимаете? – спросил Четвертакова Вяземский и стал пальцем показывать на карте. Четвертаков смотрел и понимал.

– Хорошо! – сказал Хмельков. – От того места, где сойдутся эти два русла, начинается осушительный канал почти до самого Райгорода...

Четвертаков поднял глаза на Вяземского.

– Осушительный канал – это широкая и глубокая канава...

Четвертаков кивнул.

– Канал, – продолжал Хмельков, – прямой как стрела...

– Как чугунка... – понимающе кивнул Четвертаков.

– Да, – согласился Хмельков, – только чугунка, железная дорога, настиляется по верху, по насыпи, а канал...

– Ясное дело – канава... – кивнул Четвертаков.

Хмельков и Вяземский переглянулись и сдержали улыбки, но Четвертаков это заметил. «Лыбьтесь, лыбьтесь, – подумал он, – вот как возвращусь!...»

– Не отвлекайтесь, Четвертаков!

Четвертаков вытянулся.

– Местность болотистая, но сейчас покрыта снегом и изрезана просёлочными и санными дорогами между хуторами, ровная и для скрытного передвижения неудобная изза белого снега, но почти вся поросла высокими кустарниковыми рощами...

– А можно?.. – Четвертаков протянул руку к карте и повернулся к Хмелькову.

– Можно! – уверенно сказал Хмельков. – Я сейчас перерисую, это займёт несколько минут... без дополнительных обозначений, и тогда можно.

Вяземский внимательно смотрел Четвертакову в глаза.

– Не сумлевайтесь, ваше высокоблагородие, найду, не собоюсь, только бы их секретов на пути не случилось...

– Хорошо! Идите получите пакет и сухой паёк на троё суток, с вами пойдёт мой вестовой...

Слушавший рядом Шульман сказал:

– Я дам двух казаков, донцов...

– Одного, ваше высокопревосходительство, вчетвером больно густо чернеть будем на снегу... – перебил генерала Четвертаков.

Офицеры снова переглянулись и, удивлённые такой резвостью Четвертакова, покачали головами.

Четвертаков повернулся «кругом», и зазвенели его шпоры. «Надо бы снять, – подумал он. – А то будут звенеть, как мудя у зайца!»

Полковой писарь, розовощёкий, из тверских приказчиков Гошка Притыкин, кучерявый, будто черти вили, протянул Четвертакову пакет и нарисованную на тонкой папиросной бумаге схему:

– Хороша бумажка! – Он выпятил толстые губы. – В такую табачок турецкий завёртывать, а не вам, вахлакам, под шапку сувать, всё одно сопреет! Ты... – Он промокнул на лбу пот, потому как любимым его делом было прописывать буквицы, и очень красиво получалось. – Ты знай, что её можно съесть, шоб врагу не досталась, горло драть не будет! Пайкато много дают?

Четвертаков хотел уже ответить, как получится, но мужик Притыка был незадиристый, а только почемуто всегда голодный, поэтому Кешка не стал, да и в чужой части было не с руки.

Донского казака, что был им придан, звали Минькой. От Гонёндза они прошли до русла Бобра. По настланному мосту перешли на правый берег. Кешка постучал по льду концом пики и понял, что лёд хрупкий и ненадежный, потому что за прошедшие две недели мороз дважды сменялся оттепелью.

– Чё стучишь? – в голос спросил Минька. – Али в гости жалаишь?

Четвертаков повернулся:

– Ты вот чё, горланить будешь, када свою бабу у соседа в бане узришь, кумекаешь? Минька ничего обидного не услышал в словах вахмистра, а только осклабился:

– Эх, была б щас моя баба...

– И чё?

– А погляди кругом!

– И чё угляжу?

– А снег!

– Ну, снег!

– Она б меня укрыла!

– Чё, такая большая баба?

– Не, голова садовая – даром што вахтмистерминистер – она бы накрыла мне с конем простынью поболее, и мы на снегу бы... хрен кто различит.

– А глядетьто как через простынь?

– А гляделки бы и вырезал!

– Себе, што ль?

– Говорю же... в простыни – и мне и коню!

Ориентироваться было просто: на севере, между Граево и Райгородом, куда Четвертаков, донской казак Минька Оськин и вестовой Евдоким Доброконь держали путь, полыхали зарницы артиллерийской перестрелки.

Шли переменными аллюрами; когда местность открывалась широко и под ногами была санная дорога, гнали полевым галопом, а когда приближались к рощам и обширным зарослям кустов переходили на рысь или вовсе на шаг. Вокруг было безлюдно, в нескольких местах дорога расходилась на две, или пересекалась с другой дорогой, тогда держались канала по правую руку, а иногда сворачивала и вела неведомо куда, тогда сходили с лошадей и вели в поводу по снегу, пока не доходили до следующей дороги. Канонада приближалась, горизонт полыхал, в какойто момент Минька выехал вперёд и остановился.

– Глянь! – сказал он Четвертакову.

– Чё? Куда?

– А вона вперёди, напрямки у нас на дороге...

– И чё? – Кешка вглядывался в дальнюю границу белого поля, над которой чернел лес, до этой границы было не меньше версты.

– Чую, за тем лесом быются, а на опушке... не видишь?

Кешка помотал головой:

– ...люди ходють и верхие и пешие... кабы не артилерия...

– А идут куда, на восход или на закат? – спросил Кешка и оглянулся на Доброконя: – Ты видишь?

Доброконь отрицательно помотал головой.

– Прямиком на нас, – уверенно промолвил Минька и потянулся за кисетом.

– Куды дымить надумал? – со злом спросил Кешка, он был зол оттого, что он, таёжный добытчик и родной, почитай, брат байкальского медведя, ничего не видит.

– Ты... вахтмистерминистер, соткеда будешь, с лесу небось?..

Кешка хотел ответить, но Минька не дал:

– А я со степу, мы знашь каки глазасть, особливо када с ко́нями в ночное! Не углядишь, волки мигом сцапают, а тятка поутру со спины шкуруто спустит до самых до пяток, дык поневоле глазастым будешь.

Кешка смолчал.

– Я вот чё думаю! Нука глянька туды, за спину!

Кешка и Доброконь повернулись и увидели, что за спиной у них белое поле просматривается совсем недалеко и ночное небо сливается с черными кустами и рощами.

– Вот, – сказал Минька, присел и закурил. – Нас ежли оттудова смотреть, – и он показал рукой вперёд, – где оне шаволяться, так и не видать. Думаю, ежли ко́ням дать передохнуть и нам перекурить, то можно и в путь... Одним махом добежим, к утру будем на месте, тока бы просёлок не подвёл, штоб целиной не иттить и чтоб энти были не немчура, а наши!

Кешка уже понял правоту казака, руки потянулись, он ослабил Красотке подпругу и вынул мундштук. Благодарная хозяину Красотка, тут же стала хватать губами снег. Доброконь не стал ни курить, ни ослаблять подпругу своей лошади, а только отвёл её к ближним кустам и слился.

Те, кто перемещались в чёрной ночи, оказались полуротой пехоты под командованием старшего унтера Митрия Огурцова, он так и представился: «Полуротный старший унтер Огурцов Митрий!» – и двумя расчётами при трёхдюймовках. Они должны были обогнуть лес и встать на фланге у германца. Унтер объяснил, что, как только они в сумерках вышли с южной окраины Райгорода и стали продвигаться на запад, шальная пуля убила ротного командира поручика Иванцова, и они его везут с собой.

Где найти штаб 3го Сибирского корпуса, Огурцов объяснил толково: «...Тока ежли он ещё не съехал!»

Штаб не съехал. Четвертаков, забирая с юга на восток, объехал маленький Райгород, к утру добрался до корпусного обоза I разряда, нашёл штаб, передал пакет с ориентировкой, получил обратные кроки, горячее довольствие, Минька отпросился к донцам.

Германцы наседали и пытались окружить части корпуса в обход Райгорода с севера и запада. Иннокентий торопился, однако до наступления темноты о выходе из расположения корпуса было и «думать неча». Минька появился вовремя, икая и обогащая свежий морозный воздух едким, кислым перегаром.

«От сучий потрох!» – подумал про него Кешка, но промолчал. Минька был бравый казак.

бго утром Вяземский принял полк, после Розена он был старшим по чину. Построение перед выходом на Ломжу назначил на шесть часов утра, и пошёл в крепостной лазарет.

Розен лежал в белой палате на койке с никелированными спинками, накрытый белым одеялом по грудь. Рядом сидела сестра милосердия, она только что сменила ночную сиделку и смотрела температурный лист с эпикризом, оставленный Курашвили. Вяземский вошёл на цыпочках, шпоры он отстегнул. Розен лежал с закрытыми глазами, и было непонятно, он без сознания или спит. Сестра подняла глаза и поднесла палец к губам. Вяземский подошёл и увидел, что Розен ровно дышит.

– Спит? – спросил он одними губами.

– Спит, – также губами ответила сестра и показала рукой, мол, выйдем.

Вяземский ещё секунду постоял и повернулся к двери. Они вышли.

– Как вас зовут? – спросил он сестру. По лицу и румянцу он понял, что ей лет восемнадцать.

– Татьяна Ивановна Сиротина, гродненский лазарет, – тихо ответила она и сказала: – Ваш полковник почти не потерял крови, его очень хорошо перевязали, и доктор у вас чудо, я его гдето видела...

– Доктор Курашвили.

– Не беспокойтесь, с вашим полковником всё будет хорошо. Как только он немного окрепнет, мы сразу заберём его к себе в Гродно, там тоже хорошие врачи, я только что оттуда.

– Спасибо, – сказал ей Вяземский, посмотрел через дверную щёлку на Розена и мысленно попрощался.

Пересекая плацдарм, Аркадий Иванович думал про сестру милосердия Татьяну Ивановну Сиротину: «Восемнадцать лет, не больше... каково ей на этой войне?..»

Это была огромная радость и ликование офицеров Его Величества Кавалергардского полка и всей гвардии и армии, когда 17 июля 1914 года объявили мобилизацию. После поражения от японцев военное сословие жаждало войны и побед. Побед! Особенно после унижений, которым подвергались офицеры от русского «грамотного сообщества» последнее десятилетие! А как возликовала улица! Офицерам и нижним чинам не давали прохода, особенно такие вот девушки и молодые женщины: цветы, возгласы, «Слава Царю и Отечеству!», «Утрём нос!...», речи «Растопчем...»...

«Иконами закидаем... – вздохнул Вяземский. – Так то были японцы!...»

Когда адмирал Макаров уже утонул на подорванном «Петропавловске», генерал Куропаткин ещё ехал на маньчжурский театр военных действий и по всему пути собирал православные иконы. Офицеров гвардии отпускали на японскую войну не всех, и Вяземский туда не попал. Поэтому вся гвардия так жаждала войны.

Он подошёл к коновязи, взял из рук Клешни повод и похлопал по шее Бэллу, та скосила глаз и переступила.

«А где-то сейчас розеновский арабчик бежит? Небось уже под седлом какого-нибудь герра Штольца! А эта Татьяна Ивановна... – снова подумал Аркадий Иванович. – Сиротина, кажется? Ей бы...» Вяземский не успел додумать, его прервала громкая команда фон Мекка с плаца:

– Смирррна! Глаза напрао!

После молебствия полк двинулся.

Рядом с Вяземским ехал генерал-лейтенант Шульман. Перед выездными воротами они встали на обочине и пропустили полк. Между высокими облаками, в синем ещё предзакатном небе плыла чёрная точка. Вяземский задрал голову. Было трудно разобрать, потому что очень медленно, но точка плыла с востока на запад.

– Наш, Осовецкий воздухоплавательный отряд, из Гродно взлетают, – сказал Шульман и вздохнул. – Сейчас бы понаблюдать с его высоты.

– А кто это?

– Не исключено, мой племянник, поручик Петров...

Вяземский следил за аэропланом, пока тот не скрылся в облаке или над облаком, похлопал Бэллу и подумал: «Куда нам, нашей разведке с высоты драгунского седла!»

С наступлением сумерек Четвертаков и команда двинулись в обратную дорогу на Осовец. Они возвращались тем же путём, стараясь не уклониться ни вправо, ни влево. Лошади отдохнули и отъелись. Красотка заигрывала с поводом и хватала зубами. Это забавляло Кешку, и он не думал об опасности. Они шли вдоль опушки леса и почти дошли до того места, где встретились с полуротой этого смешного Огурцова и увидели, что на дорогу вышли вооружённые люди.

– Снова, што ли, Огурцов! – хохотнул Оськин и пришпорил дончака.

Так же бұхала канонада и на облаках, где они были, вспыхивали отсветы выстрелов и взрывов. Кешка и Доброконь тоже пришпорили, и из чёрного леса под чёрным небом изза спин пеших выскочили несколько всадников и во весь опор поскакали на Кешку и его товарищей. В этот момент Кешка понял, что это германцы: когда те отделились от леса и приблизились на полсотни саженей, он увидел на их головах каски. Деваться было некуда: с одной стороны лес, с другой – снежная целина. Он дал шпоры Красотке, оглянулся и только выдохнул Доброконю: «Молча!» Две группы всадников стали сближаться, германцы стреляли, несколько пуль просвистели, и, когда на Кешку уже налетел всадник и выстрелил, Кешка уклонился влево и полосонул германца на встречном ходу шашкой поперёк. Германец не ждал такого удара, у него в руке был пистолет, а Кешкину правую руку дёрнуло так, что на кисти остался один

темляк, а шашка оторвалась. Это было неожиданно, и Кешка дал Красотке шенкелей вправо, когда на него, стоя в стремях, уже налетал другой всадник. Кешка держал в левой руке пику на укороченном ремне и воткнул. Всадник вылетел из седла и падал с пикой в груди. Кешке выбило левое плечо, ему стало нечем обороняться, унтерский револьвер он не любил, его надо было взводить каждый раз. Он развернул Красотку. Пика Доброконя сломалась в шее лошади германского всадника, но тот был цел и на падающем коне налетал с саблей на Доброконя. Кешка пошёл на него Красоткой и опрокинул на снег. Германец не успел выскочить из стремян, и лошадь его придавила. Оськин отмахивался от двух наседавших, одного зарубил, другой поворотил лошадь и наварался на Доброконя. Дальше Кешка не смотрел, он скинул с плеча карабин и по твёрдой утоптанной дороге пошёл на стрелявших в него с колена пехотинцев. Доскакать не успел – пехотинцы, их было трое, бросились в лес. Тогда Кешка вернулся. Оськин и Доброконь хороводили разгорячённых лошадей и матерились. Кешка соскочил, подошёл к лежавшему на спине германцу. Шашка застряла в его черепе поперёк так, что Кешка выдернул её, только наступив германцу на лоб. Вскочил в седло, махнул рукой, и они стали уходить по снежной целине. Через сажень двести вышли на санную дорогу вдоль осушительного канала и остановились перевести дух. Кешка провёл Красотку в поводу шагов триста.

– Ну што, братцы, надо бы перекурить, – сказал он и пошёл с Красоткой к ближним кустам.

Табак трещал, пальцы горели, и над самокрутками, как над спиртом, то и дело вспыхивало синее пламя. Вдруг Минька матерно разразился и стал вставать.

– Ты глянь, а мы тут не одни! – Он показал рукой через дорогу, и Кешка увидел, что к ним из снежной целины выбирается белый конь, осёдланный и в оголовье. Минька побежал, ухватил коня и за поводья вытянул его из глубокого снега на дорогу.

– С прибытком! – весело заорал он. Кешка стал осматривать коня и обомлел – это был арабчик полковника Розена под немецким седлом.

По прикидкам, до моста через Бобёр оставалось ещё вёрсты четыре. Канонада за спиной почти утихла. Они уже обсудили схватку во всех деталях и насмеялись до боли в скулах. У Оськина под седельной подушкой оказалась фляга с самогонкой, и они её пили, не слезая с сёдел.

– А вот я интересуюсь, братцы, нам за энто еройство чё дадут?

Кешка сначала посмотрел на Миньку, потом оглянулся на Доброконя, тот пожал плечами. А действительно, за этот ночной короткий бой – «чё дадут»? И он понял: «а ничё»!

– Надо было бы чёни-чё прихватить, палетку, сумку али документы какие. А так скажут, мол, брешете, кто проверит? – ответил Кешка и подумал: «Надо было шишак, чё ли, снять с этого немца, так весь в кровище был, не снегом же оттирать!»

По тому, как впереди росли кусты, было понятно, что Бобёр недалеко.

Уже должно было светать, но темнота густела, будто время шло не к рассвету, а к полуночи. Кешка глянул наверх и увидел, что с юга от Осовца на них находят низкие тучи и под тучами небо и земля слились.

– Наддай, братцы, метель идёт, а нам ещё вёрсты три.

Они пошли рысью, араб было тянулся за Красоткой на длинном повод, но, как только ускорился шаг, поравнялся и пошёл рядом. Кешка любовался белым как снег жеребцом.

Вдруг за спиной задрожал воздух, и Кешке показалось, что земля оттуда, от Райгорода, пошла волной. Красотка затропотала и скакнула вправо, потом влево, чуть не срываясь с дороги. Кешка намотал на кулак повод и невольно стал вертеть головой: остальные лошади тоже нервничали, и тут на них на всех, и на лошадей, и на всадников, обрушился гром. Удар огромной силы придавил спины и плечи к лошадиным шеям. Все разом оглохли, и всё вокруг стало неузнаваемое. Дончак под Минькой упал на передние колени и валился боком, Минька падал с ним, но быстро вскочил. Араб взвился свечой и, если бы не длинный повод, уронил бы

Красотку. Кешке показалось, что в уши ударили молотами, глаза вылезли, внутри возникла пустота открывшегося рта, голова ошалела, и он стал сползать с седла. Минькин дончак перестал храпеть. Доброконь ехал в седле боком и еле держался. Минька сел на снег рядом с упавшим дончаком и тянул папаху на уши.

Вдруг земля перестала дрожать, и дорога и кусты встали на место. Кешка потряс головой и стал оглядываться назад, туда, откуда они шли. Однако там всё было спокойно и, похоже, тихо, но в ушах звенело, и он не понимал, где это – в его голове или кругом. Тут со стороны Осовца блеснула такая яркая вспышка, что Кешка увидел Оськина, стоявшего над своей лошадью и целившего её в голову из карабина, как будто бы тот был весь вырезан из чёрной бумаги так подробно и в таких деталях, что Кешка различил мушку на конце ствола. Кешка на секунду ослеп. И оттуда, где блеснула вспышка, ударил гром не хуже того, что прогремел сзади секунду назад. «Обстрел, большая пушка, видать!» Он отвязал повод араба, бросил его Оськину и они подались в Гонёндз.

До Гонёндза доскакали в темноте и плотной метели. Кешка не ошибся, по Осовцу сделала выстрел крупнокалиберная артиллерия. Кешка решил, что с полученным в штабе 3го Сибирского корпуса пакетом им надо в самую крепость, и проскакали мимо Гонёндза. Метель несла снег настолько густо, что пехотные позиции справа от дороги между Гонёндзом и Осовцом замела и сровняла с дорогой. Краем глаза Кешка видел, как из сугробов откапывается пехота. В промежутке, когда Кешка, Оськин и Доброконь скакали от Гонёндза до Осовца, германская артиллерия молчала. Когда уже подъехали к воротам Плацдарма, справа раздался взрыв, Кешка его не слышал, но ощутил – взрывная волна опрокинула его вместе с Красоткой. Падая, Кешка машинально выставил локоть, упал и от боли потерял сознание.

В это же самое время усилилась канонада в шестидесяти верстах севернее Осовца в районе обширного Августовского леса.

Германские армии приступили к добиванию 20го корпуса генерала Булгакова 10-й русской армии генерала Сиверса.

Иннокентий очнулся оттого, что стал задыхаться. Он открыл глаза, перед ним проплыла фигура в тумане, она вся была в белом. Фигура сначала прошла мимо Иннокентия, потом, когда тот стал шевелиться и перхаться, подошла и присела рядом, держа что-то в руках. Иннокентий жевал липкую грязь во рту, чтобы выплюнуть, но грязь была похожа на клейстер и отделяться от нёба и языка не желала. Фигурой в белом была сестра милосердия, Кешка это сейчас разобрал. Она за затылок приподняла его голову, поднесла ко рту фарфоровую кружку с трубочкой, Кешка почувствовал воду и стал пить.

– Нет! – сказала ему сестра. – Надо пополоскать во рту и вот сюда выплюнуть.

– Прочухался, вахтмистерминистер, – услышал Кешка.

Конечно, это был Минька Оськин, и Кешка сразу его узнал: по нахальному обращению, по звучанию голоса, по тому, как он... И только тут Кешка обратил внимание, что лицо сестры милосердия замотано полотенцем или марлей, остались только глаза, а воздух в палате был будто туману напустили.

– Это пыль, – сказала сестра, она говорила что-то ещё, но Кешка не слышал, он только видел, что она открывает рот, марля на губах шевелилась и была то выпуклой, а то с ямкой по форме рта. Сестра говорила и как-то наклоняла и пригибала голову, и Кешке казалось, что она хочет спрятать голову, и тут он стал ощущать, что воздух и всё вокруг на секунду, на две как бы оживает.

«Долбят, – понял он, – большие пушки, тяжёлая артиллерия!»

– Сейчас я вам тоже обвяжу голову, чтобы вы не задохнулись, – расслышал он, сестра поднялась, на её месте тут же оказался врач, большой дядька в пенсне и тоже обвязанный по лицу, и у него так же, как у сестры милосердия, на месте рта шевелилась марля.

– Дайка мне руку, – сказал он и, не дожидаясь, когда Кешка поймёт, стал поднимать его левую руку. Кешка почувствовал тупую боль в плече. – Шевелится, – сказал врач и поднялся, – перелома нет, давайте на стул, будем выправлять вывих.

Сестра обмотала Кешке голову марлей и стала помогать подняться, точно так же был обмотан Минька, он лежал на соседней койке. У Кешки немного кружилась голова, но он спустил ноги на пол и встал самостоятельно. Сестра подсунула табурет. Доктор сел, он стал щупать Кешкино плечо. Кешка морщился, но боль терпел. Вдруг доктор дёрнул, у Иннокентия потемнело в глазах, и он стал то ли падать, то ли взлетать и снова оглох.

– Ну вот и всё! – сказал доктор откуда-то издалека, но его глаза оказались совсем близко, вплотную к Кешкиным, и он глядел ими прямо Кешке в душу. Доктор отстранился. – Пошевели плечом, – велел он, но Кешка боялся. – Не бойся, – сказал доктор.

Кешка пошевелил, боли не было, то есть она была, но уже где-то далеко, только как память.

– Эх, пока ты без сознанки валялся, тута така сестричка была, любодорого смотреть, а вчера она с твоим полковником отбыла...

После исправления вывиха Кешка не захотел валяться и сидел. Минька болтал, лежа на животе. Маленьким осколком от того взрыва около ворот Плацдарма ему разворотило половину задницы, и сидеть он не мог, не мог лежать на спине и иногда от боли терял сознание. Он умолкал на полуслове и опускал голову подбородком на кулаки, и Кешке становилось понятно, что с Минькой обморок. Но это бывало ненадолго, на пару минут. Сначала Иннокентий не знал, что делать, а потом приспособил мокрое, холодное полотенце, которое прикладывал к Минькиному лбу. Про Доброконя Иннокентий узнал, что Доброконь остался цел и вчера отбыл вслед полку, как только полковника Розена в сопровождении сестры милосердия отправили в Гродно. Вместе с полковником отправили и его белого араба.

– И арабчика у mine отобрали... А мойто от сердца с испугу и помер, прям как есть на дороге...

Кешка вздрогнул, он не заметил, что Оськин очухался после очередного обморока.

– ...военную добычу отобрать у казака... это ж надо!..

Кешка хотел ответить, что арабчик полковнику после такого ранения был как родня и нужнее, чем Миньке, но ничего не сказал, потому что Минька замолчал и усталился в белую стену. А сестру милосердия, уехавшую с полковником Розеном, он вспомнил, он видел её, когда ненадолго приходил в себя. У неё были заботливые глаза и тёплые, мягкие, хрупкие пальцы.

С 12 февраля германцы бомбардировали Осовец непрерывно.

От лазарета, находившегося на Плацдарме, до штаба крепости, расположенного в форте №1, Кешка добирался перебежками от угла одних развалин до угла следующих. Германцы кидали бомбы без перерыва, и бомбы взрывались в крепости и вокруг каждые двести минут. На плацдарме лежали груды битого кирпича, остатки старых крепостных построек и горело всё, что было из дерева. Под ногами валялись и путались телефонные и электрические провода, сорванные взрывами и осколками. Несколько раз Иннокентий чуть не падал.

В штабе его встретил писарь и проводил в канцелярию. Генераллейтенант Шульман сидел в свете керосиновой лампы и с несколькими офицерами рассматривал карту. Он поднял глаза на Четвертакова.

– Говорят, ты хороший стрелок? – спросил он. – А то, что хорошо ориентируешься на местности, я уже знаю!

Кешка напрягся.

– Я имею в виду, что не заплутаешь! Не заплутал же в прошлый раз! Да ещё ночью!

– Никак нет, ваше высокопревосходительство, не заплутал.

– А в картах понимаешь?

Кешка смутился.

– Да нет! Не дама, король, туз, а вот, посмотри!.. – сказал генерал и позвал Иннокентия подойти ближе. – Глянь, видишь чтонибудь знакомое?

Иннокентий стал смотреть на карту: он увидел геометрическую фигуру с острыми углами – крепость Осовец; кривую речку Бобёр; мост рядом с опорным пунктом Гонёндз; шоссе на Граево и сам городок Граево; разумеется – Райгород, и даже ему показалось, что он признал то место, где была стычка с германским конным разъездом.

– Покажи, где была стычка, и где к вам прибился конь полковника Розена.

Кешке очень хотелось почесать в затылке, но он глянул на офицеров, среди которых на этот раз не было знакомых, и перетерпел.

– Вот тут. – Он уверенно показал пальцем в то место, где проходил осушительный канал, а рядом с ним шла дорога и упиралась в другую дорогу вдоль леса. – Тут они и наскочили.

– Кто они?

– Германцы. – Иннокентий оторвался от карты и посмотрел в глаза генералу.

– А знаешь, что было в сумках седла на полковничьей лошади?

– Никак нет, ваше высокопревосходительство.

Генерал отклонился и достал сложенную карту.

– Вы наскочили на разъезд германской артиллерийской разведки, вот! – Он стал раскладывать поверх лежавшей на столе карты другую, судя по сказанному им – германскую. На ней Кешка тоже всё понял, только названия были написаны незнакомыми буквами.

– И сколько их было?

– Четверо конные и три пехота!

– И вы всех?..

– Не, тока конных, пехота скрылась в лесу, нам их было не выловить!

Генерал посмотрел на одного из офицеров:

– Ну как, поручик, берёте его в качестве проводника? Местные все ушли или высланы, а дойти надо вот сюда. – Генерал показал на карте железнодорожную станцию Подлясок. – Двенадцать вёрст в северном направлении.

– За две ночи доберёмся! – уверенно сказал пехотный поручик и посмотрел на Иннокентия.

– Доберёмся, – так же уверенно сказал Иннокентий, хотя ещё не понимал, о чём идёт речь, и посмотрел на незнакомого ему поручика. – Тока нам бы простыней, штуки три.

Первую ночь офицер картографического отдела генералквартирмейстера СевероЗападного фронта поручик Штин, вахмистр Четвертаков и два пластуна пытались передвигаться на лошадях. Идти приходилось большей частью по целине, и на вторую ночь поручик решил оставить лошадей в глубокой мочажине, окружённой кустами, и дальше двигаться пешком. Кешка и пластуны были согласны, потому что в глубоком снегу лошади выбивались из сил быстрее, чем люди. Две трети пути до железнодорожной станции Подлясок были пройдено, германец кидал бомбы огромных калибров почти без перерыва, ориентировались и на свет,

и на звук: бабахнет спереди на севере, и через несколько секунд взорвётся сзади на юге. А смотреть в сторону Осовца было страшно. Не так страшно было в самом Осовце, хотя громыхало сильно, говорить было невозможно, если внутри бетонных бункеров и казематов. И потряхивало изрядно. Солдаты, уставшие от прежних боёв, шутили, что, мол, «пусть кидает, мы хоть отоспимся, а с койки ниже пола не упадёшь». Над Осовцом стоял высоченный столб дыма и бетонной пыли, который достигал, казалось, самого неба.

Перед выходом Штин объяснил, что, как разглядели сверху наши аэропланы, перед Подляском германцы несколько дней назад поставили четыре особенно огромные мортиры, калибр которых был почти в локоть, а вес одного снаряда больше веса четырёх бочек с камнями. Иннокентий и пластуны удивлялись и морщили лбы. Этих мортир могли не выдержать осовецкие казематы, поэтому их надо засечь, нанести на карту, а карту доставить в крепость и обстрелять, иначе Осовцу – крышка.

За вторую ночь они дошли до южной опушки леса, оттуда переползли через шоссе в небольшую рощу, и все четверо увидели эти чудовищные мортиры, это было уже под утро.

Назад из разведки Штин отправил пластунов со схемой, а сам с Иннокентием остался ждать.

Светало, Кешка видел, как германцы возятся вокруг мортир, они что-то подвозили, что-то толкали, а потом отбежали и закрыли уши.

И долбануло! Мортиры выстрелили.

Долбануло так, что Кешке показалось, что земля подпрыгнула и подбросила снег толщиной в полроста.

Снег упал, Кешка обернулся на Штина, тот не двигался, как охотник на засидке, и весь припорошенный молчал. Он не отрываясь смотрел в сторону германцев.

Кешке не хотелось шевелиться, после холодной ночи он почувствовал, как у него теплеют ноги и руки, так прошло несколько минут... и вдруг долбануло...

Взрывов было два.

Кешка пригнул голову и почувствовал, что поручик тянет его за рукав. Он посмотрел, германские мортиры, как и прежде, стояли на расстоянии сажень пятидесяти, но сейчас он увидел огромное пятно вздыбленной пыли и гари и в нём застывшие в воздухе на мгновение куски, и в утренних сумерках было непонятно, это куски человеческих тел или бесформенного железа, в середине которого был очерк двух взорванных орудий и прислуги. Кешка не услышал, а только по губам понял – Штин сказал: «Попали! Возвращаемся!» Штин показал не оглядываться, вскочил и по глубокому снегу через рощу, как мог, побежал в сторону шоссе. В густых кустах перед дорогой он остановился, чтобы перевести дух.

– Мы их уничтожили, – начал он свистящим шепотом. – Смотрите, вахмистр, день только начинается... По нашей с вами наводке наша артиллерия уничтожила две мортиры. Сейчас у них паника, и нам или сидеть тут до вечера, до темноты, или проскочить через эту дорогу и уйти по целине, а к вечеру мы доберёмся до коней. Германцы, конечно, начнут шевелиться и, чёрт его знает, могут нас по следам найти, тогда несдобровать. Как думаете, ждать или уходить?

Кешке очень не хотелось ждать, он проголодался, начал замерзать, и у него заныло плечо.

– Итти надобно, ваше благородие! Пока не совсем рассвело, мы в белых простынях на дороге не шибко будем мелькать, а по целине германец не пойдёт, известное дело, тока палить будут...

Штин слушал.

– ...а в кого палить, по белому? Так хоть сколько, а до коней... где ползком, где бегом... а? Добежим?..

Приказом командующего 12й армии генерала от кавалерии Павла Адамовича Плеве 15 февраля 1915 года Вяземский вступил в командование полком. Для получения приказа, новой диспозиции полку и представления командованию Вяземский прибыл из Ломжи в городок Остров с командиром №1го эскадрона Дроком.

Все дороги к городку и сам Остров были заполнены войсками, передвигавшимися в северо-западном направлении. С новым командиром полка и ротмистром попросился врач Курашвили: ему нужно было познакомиться с медицинской частью формировавшейся 12й армии и коечто добавить к своему хозяйству. Денщика Вяземский и Дрок решили взять одного – Клешня. Квартирьер дивизии определил прибывшим место жительства, это был небольшой двухэтажный особняк недалеко от центра города. Хозяева, пожилые супруги, потеснились, офицеры заняли три комнаты во втором этаже, Клешне достался чулан по соседству с кухней. Вяземский выдал Клешне деньги и отправил купить походную посуду для офицерского собрания взамен розеновской, поскольку весь «обоз» полковника был оставлен с ним в Осовце. Клешня ушёл первым выполнять поручение, после в штаб уехали Вяземский и Дрок, в своей комнате остался Курашвили. Он уже снёсся с начальниками медицинской части армии и дивизии и договорился о встрече через полтора часа. Сейчас был полдень.

Курашвили курил в тесной комнатке с низким потолком, нависавшим над его лысой головой, и смотрел на накрытый бордовой бархатной скатертью круглый стол. После утомительной дороги верхом хотелось лечь на кушетку и крепко выспаться. Ещё у него был спирт, но перед встречей с начальством о спирте нельзя было думать, и Курашвили решил, что он чтото напишет, вроде письма, это у него уже вошло в привычку. Он попросил у хозяев чернильницу, приготовил бумагу, сел, но упёрся взглядом в маленькое окошко и не мог пошевелиться.

«Татьяна Ивановна, Татьяна Ивановна... ведь она же не знает, что я её знаю!» – эта мысль не выходила из головы доктора с того момента, когда он встретил её на путях белостокского железнодорожного узла. Он очень надеялся, что дядька выполнит обещание и отправит её в глубокий тыл, а вместо этого столкнулся с ней в осовецком лазарете. Он вошёл в операционную, на столе уже лежал усыплённый Розен. Татьяна Ивановна глянула на Курашвили и глазами улыбнулась ему, её лицо было прикрыто марлевой маской, она готовила инструменты. По тому, как она это делала, Курашвили понял, что она чтото умеет, наверное, кончила курсы сестёр милосердия и, может быть, уже ассистировала на операциях. Эта догадка подтвердилась, когда она безошибочно подавала инструменты, зажимала кровеносные сосуды, осушала оперируемое место тампонами...

«Черт, ведь она же не знает, что я её знаю...»

Курашвили просидел за столом час, за перо так и не взялся, и вздрогнул, когда услышал в нижних комнатах бой часов. Он поднялся, надо было идти. Он только выложил на стол так и не раскрытый ни разу томик Чехова. Это не было желанием или нежеланием, но Алексей Гивиевич почему-то опасался его раскрывать.

Клешня выполнил задачу командира и приобрёл полтора десятка простых оловянных тарелок и кружек, долго торговался и сэкономил, однако не удержался и одно приказание нарушил: для Вяземского на сэкономленное он купил романовский хрустальный стакан. Но решил продемонстрировать покупку не сразу, а когда они уже будут от этого городка и какой бы то ни было цивилизации далеко.

18 февраля обстрел крепости Осовец уменьшился. Ещё стреляли, но после подрыва двух 42см мортир остальные, меньшего калибра, такой опасности не представляли. Центральный форт уцелел, четырёхметровой толщины железобетонные стены выдержали.

Кешка отоспался и отъелся.

19 февраля рано утром он был отпущен с пакетом в полк и выехал по тыловой дороге в сторону Белостока. Он гнал во весь опор и не оглядывался, в голове стучала мысль: «А то превращуся в соляной столб, хоть бы и не баба!» А когда проскакал несколько вёрст, соскочил и пошёл рядом с Красоткой. Она пострадала: от грохота немного оглохла и за эти дни застоялась. Ещё у неё была ссадина на левом боку от того падения. В тесном деннике крепостной конюшни от бетонной пыли ссадина, оказавшаяся как раз под подпругой, нагноилась. Ещё от плохой, застойной крепостной воды раздулся живот, и Красотка икала и тянулась к лужам. Кешка ослабил подпругу, достал пропитанную вонючей мазью тряпку, вручённую ему перед отъездом крепостным ветеринаром, и, как мог, пристроил под подпругой на ссадину.

Вахмистр Четвертаков был свободен.

Они шли по дороге и дышали чистым воздухом. Кругом была красота: пусто, вольно и почти тихо. От Осовца ещё дышал гром, но разве можно было сравнить? Когда несколько тяжёлых снарядов упали на Центральный форт, Кешка вспомнил, как на Байкале было земляное трясение. Но там, по памяти, были ягоды. А Осовец, казалось, подпрыгивал на сажень и с грохотом опускался на землю. С коек не падали, потому что приспособились – привязывались ремнями. А то, что грохотало, так тоже приспособились – затыкали, чем было, уши, и вся недолга. Доставалось в основном пехоте между фортами и на опорных пунктах, там окопы перемешало так, что они сровнялись с землей. Однако Кешка этого не видел, только слышал от раненых. Миньку Оськина он не застал, того, пока он с поручиком разведывал германские пушки, вместе с другими тяжелоранеными увезли в Гродно. Отвезла та же сестра милосердия, «сестричкабарышня», как её прозвали раненые, и вернулась.

Перед отъездом писарь вручил Кешке пакет с пятью сургучными печатями и сказал, мол, не потеряй, мол, там тебе «суприз!».

Только сейчас Кешка оглянулся: над крепостью стоял серый столб пыли и дыма высокий, до облаков, а там его сносило вбок тонким плоским шлейфом, как бобровый хвост, до самого горизонта.

Красотка переступила к обочине и стала хватать прошлогоднюю сухую траву, Кешка хотел взять её в повод, а потом махнул рукой, и вдруг услышал и не поверил своим ушам – птичий щебет.

«Эка! – подумал он. – Это ж скока я...»

Ему надо было дойти до того места, как ему объяснили, где дорога на юг идёт вдоль русла Бобра до развилки, а на развилке повернуть вправо на Ломжу, и до этой развилки было около 40 вёрст.

Добрался в сумерках.

Вдоль правой обочины тянулась деревня, в которой не горело ни одно окно, ни один огонёк. Это Кешку не удивило, было уже привычно, что местные жители сбегают от войны, она, война, не всем «мать родна». В августе в Пруссии, когда вошли, разное бывало, одну деревню германская артиллерия спалит, другую русская. В первый раз город взяли, так и магазины не закрылись, а во второй – и дома уже стоят побитые, и местных днем с огнём не сыскать, и в магазинах ни стёкол, ни товару, а тут и помыться надо, и подшиться не грех, и коней покормить.

Кешка шёл, держал карабин на взводе и присматривался, где можно было бы переночевать, авось где и мелькнёт огонек. Но не мелькнул, и он пошёл к заборам ближе, а заборы были невысокие. За заборами росли яблони, а может, груши, кто их знает, между яблонями или грушами, а может, и сливами, было ровно и красиво даже под снегом; хозяйство угадывалось за домами, а не рядом, как ему было бы привычно. Единственное, что искал Кешка, это стог сена, и не находил. Он прошёл несколько домов и у одного увидел, что калитка не заперта. Он вошёл. На подворье лежал полупрозрачный, уплотнённый оттепелью снег. Следы на снегу были старые, округлые, оплывшие.

«Понятно, – подумал Кешка. – Значится, нету здесь никого уже неделю как, а то и поболее! Значится, как только по крепости начали стрелять!» Он прошёл за дом, Красотка за ним, Кешка закинул карабин на плечо. За домом на большом подворье все постройки стояли каменные, в одной ворота раскрыты, Кешка заглянул и обнаружил сеновал.

Дальше всё было просто: от заднего штакетника он наломал дров, перед воротами сеновала разжёг костёр, приспособил какойто ящик под задницу, разогрел тушёнки, глотнул спирту, спасибо братцам, крепостным санитарам, покурив, а сначала пристроил Красотку. Он дымил, Красотка хрустела сеном, целая охапка была у ней под ногами, и всё бы хорошо, да только далеко подрагивала канонада.

Когда всё кончилось: еда, табак и дневной запал, Кешка устало поднялся, проверил, крепко ли привязана Красотка, откинул сено, сделал душистую яму и завалился. А как завалился, так захотелось покурить, но тут надо было решиться, или спать, или идти из сеновала, и, думая об этом, Кешка не заметил, как заснул, и ему привиделся Байкал. Большая зеркальная вода, а вдалеке изломанные германские пушки или высокие скалы, огромные, похожие на пушки, и вот его жена Марья Ипатьевна идёт павою с платочком в руке. Одета, как сестрица милосердия с накидкой на голове и в белом переднике с красным крестом на груди, а за ней охотник с того берега Мишка Лопыга, по прозвищу Гуран, только у того через плечо перекинут кавалерийский карабин. Большой дощатый плот плывёт по воде Байкала, а Байкал глубооокий, и Кешке стало вдруг тревожно, потому что народу на плоту много – вся его свадьба, а плот уже одним, дальним углом черпает воду, и вода плещется поверх настила, будто кто тащит плот ко дну или зацепился за что. Кешка услышал явственно, что плот трещит, и проснулся.

Рядом с его ухом жевала сено Красотка.

«Фу, напужала, – махнул на неё рукой Кешка. – Чертова Чесотка!»

Письма и документы

Дорогая, многоуважаемая Татьяна Ивановна!

Вот такие они дороги войны – не знаешь, где найдешь, где потеряешь! Наша встреча была столь неожиданной, что я долго не мог прийти в себя.

А счет у нас, если на манер английской игры «football», все же в пользу немцев, или как говорят наши драгуны – «германцев»: 3:2. 8го февраля германцы окружили и практически полностью уничтожили и взяли в плен 20-й корпус генерала Булгакова. До меня донесли сведения, что спаслись два или три полка. Они вырвались из окружения, и ушли в крепость Гродно.

А наш полк успешно избежал бомбардировки крепости Осовец, мы вышли оттуда за день или два. Сама крепость, вроде, уцелела.

Но уже 18го февраля германцы начали наступление на Праснышь, это примерно в ста верстах от Варшавы на север и примерно на таком же расстоянии на запад от Ломжи. Наш полк в этом сражении не участвовал, нас отправили из Ломжи на север, на крайний правый фланг нашей 12-й армии на разведку и вместе с Третьим Кавказским корпусом удержание этого фланга. Под Праснышем досталось 1й армии старика генерала Литвинова. Он ждал удара юго-восточнее, на левом фланге, а германец ударил в центре, прямо по 1-му Туркестанскому корпусу, хотел в Прасныше закрепиться, чтобы дальше развивать наступление на запад на Гродно. Не получилось.

Сейчас нами командует генерал Плеве Павел Адамович. Таких бы побольше. Он не ждет, а сам бьёт! Вот это правильно. Он отправил в помощь 1му корпусу армии Литвинова свой 2й и они «дали немцу». Так говорят наши драгуны. 22го или 23го февраля всё закончилось. Прасныш снова наш. Я был в нём до войны, когда ездил в Германию на воды. Уютный польский городишко. Чтото от него сейчас осталось? Любопытны польские паненки! Но Вы об этом никогда не узнаете, и у меня пусть это останется только в памяти. Вообще, война, как железная метла, всё сметая на своём пути, оставляет руины и мёртвых. Это ужасно. И некоторые судьбы. Есть у нас один вахмистр. Жутко сказать, откуда его забросила судьба, аж с самого Байкала. Под Осовцом он совершил какойто геройский подвиг, чуть ли не взорвал две самые большие германские мортиры, они называются «Толстушка Берта». Пушка сеет смерть, а её называют смешным и одновременно ласковым женским именем. Станные они люди – эти человеки. Об этом подвиге в полк из крепости Осовец прислали короткую телеграмму. А пакет от коменданта крепости этот вахмистр то ли потерял, то ли ещё чего, да только не довез. Так никто и не понял. И остался вахмистр без награды.

Мы стоим в Ломже уже две недели. Наши эскадроны несут разведывательную службу на север и на запад. Бывают стычки, есть раненые и убитые, но немного, так что работы у меня мало, и слава Богу. Жалко их, и драгун и пехоту. Оторвали крестьянина от его сельского дела и перемалывают в грязь. Но это ладно, всё же есть за что биться, не Россия объявила войну Германии, а наоборот. Однако не все это понимают и говорят, что уже появились недовольные. Спортивный дух войны у солдата основательно выветрился. Жалко убитых, но они этого даже не узнали, а сколько покалеченных – без рук и без ног? Как там мой крестник полковник Розен? Выжил ли? У него вполне могла развиваться газовая гангрена.

Тешу себя надеждой, что Ваш дядюшка исполнил обещанное Вашей матушке, и Вы служите в тыловых госпиталях, а не полковой сестрой милосердия, хотя, если бы вы оказались в нашем полку...

Сегодня уже 28 февраля. Не високосный год. И кажется, что чем короче месяцы, тем скорее кончится война. Бред какойто, разве война зависит от длины месяца? Тогда пусть были бы по одному дню – двенадцать дней, а не месяцев, и год войны прошел. Однако это я уже выпил семь рюмок разведенного.

Пора спать, и Вам спокойной ночи. Завтра проснусь и всё лишнее вычеркну. Не переписывать же!

Как сказано в Библии: не погибнем, но изменимся!

Всегда Ваш, Алексей Курашвили, «Гирьевич», как говорят наши драгуны.

28 февраля 1915 года от Рождества Христова.

Март

1 марта 15 г. Воскресенье.

Пришли со службы, отстояла тяжело, буду отдыхать. Тетушка спросила, что буду есть – заказать кухарке, ничего не хочется. Жоржик просится на улицу. Дальше двора просила не ходить, но куда там.

2 марта, понедельник.

Утром проводила Жоржика в корпус. Всё же жаль его, лучше бы учился в гимназии, всё был бы при мне, а так отпускают только в воскресенье, а других детей, если кто плохо себя ведёт, и вовсе не отпускают, а ко мне проявляют благосклонность, я ведь в положении. Это я так думаю.

4 марта, четверг

Утром писать не было сил. Сильно толкается малыш. Или малышка. Лучше бы малышка! Малыш уже есть, хотя и вырос, 12 лет, а ростом уже ко мне подбирается. Скорее всего, высоким не будет – не в отца, скорее в меня, но крепкий. Но не написать не могу. Жоржик прибежал домой совершенно неожиданно, их отпустили до вечера из корпуса в честь победы под Осовцом, мол, наши не сдали крепость. Принёс переписанную из какойто газеты статью, прямо в школьной тетради, чуть ли не по Закону Божию (ох и влетит ему), и принялся мне читать. Было интересно и слушать его, и смотреть на него. Статью написал какойто военный журналист, судя по фамилии, поляк, очевидец осады этой крепости. Написал, что смотреть на эту осаду и обстрел со стороны было страшно. А как, интересно, ему удалось смотреть со стороны? Это с какой? Но Жоржик об этом, конечно, не задумывается, и читал громко, как стихи, когда был маленьким со стула, с табуретки. Мол, Осовец – это русский Верден! Что такое Верден, он, конечно, знает. Они в корпусе следят по газетам, их проносят тайно, так он мне всё и рассказывает. Я его слушала, а сама вспоминала, как в детстве с родителями мы проехали всю провинцию Шампань, а Верден был гдето на севере. Мы, когда возвращались в Германию, помню, проезжали какоето место с похожим названием. Верден. Осовец. А гдето сейчас Аркадий? Не там ли? Не в Осовце ли? Тетушка хорошо помнит эти места. Говорит, что они с дядюшкой там служили: Гродно, Ковно, тогда Осовец только начинали строить.

Надо покормить Жоржика и отправить его с дворником, а то уже почти темно. Это ж сколько будет упрёков и неудовольствия! Страшно подумать. Но отпускать его одного уже боюсь, чтото происходит в городе. Спаси, Господи!

8 марта, воскресенье

Только что вернулись с тётушкой с прогулки. Погоды стоят чудесные. На Венце только дует, так там всегда так! Март дружный, уже в парке поют птицы. И шевеление воздуха тёплое.

Надо писать с «Ё», всё же здесь её, эту букву, придумали. Надо бы памятник ей поставить или ему, тому, кто придумал. А то ведь привыкнут и забудут, лет через сто! Карамзин, что ли? Да только вот дело не в ней, не в букве.

Гуляли с тётушкой после обеда. Мне тяжело, но надо. Солнышко уже припекает, уже, где нет тени, снег подточен и стал серый. Всё было спокойно, прогуливавшихся немного, меня уже знают и здороваются. Милые они люди – симбирцы. Радушные. Скромные.

Потом на Венец пришла конная полиция и целая демонстрация! С флагами и какими-то лозунгами на кумачовых полотнищах. Мы отошли в сторону. Демонстрация праздновала, а может, не праздновала день 8 марта. Я сначала не поняла, что это за праздник? Спросили урядника, он тоже не знает, сказал, какойто «силидарности». Наверное, «солидарности». Кого?

С кем? Мы стали прислушиваться. Какойто мужчина встал ногами прямо на лавочку и стал чтото говорить о «солидарности между трудящимися женщинами всего мира». Мы так ничего не поняли. Стала болеть спина, и мы ушли.

Что это такое? В Питере такого не было. 9 января было, а 8 марта не было. 8 марта в календаре, конечно, есть, а праздника не было. И что за праздники во время войны?

10 марта, вторник

Удивительно, но загулял дворник. Такой тихий мужичок, никогда слова не скажет, всё только: «Как есть, барыня!», «Будет исполнено, барыня!», «Не извольте беспокоиться, барыня!». А тут...

Даже не знаю, как такое доверить бумаге, это же навсегда...

Напился! С утра! И весь день ходил по двору с метлой и бормотал невнятное. Кухарка было хотела его усовестить, но он ей такое сказал, что до сих пор сидит у печки и плачет, а мы с тётушкой не можем добиться, что же он ей сказал, она только утирает слёзы и отмахивается, срамно, говорит. Однако мы своего добились. «Дворник, – говорит, – ждёт революции... тогда всем барам, говорит, будет конец и по всем усадьбам пустят красного петуха...» Дальше она чтото говорила про какогото «тутошнего», который «главный революционер и что он в России всем и заправляет...». Это нам было совсем непонятно. Что тётушка, что кухарка Софья местные, здесь родились и всю жизнь прожили. Потом, правда, тётушка вспомнила, что, когда дядюшка служил в Варшаве, сына местного попечителя училищ казнили за попытку или покушение на царя, но остальные его дети вполне порядочные. Мне другое непонятно, газету, любую, что петроградскую, что московскую, что местную, нельзя взять в руки, столько там злобы и желчи по поводу наших военных, а в чём они виноваты, не они же объявили войну, они только на ней воюют, получают увечья, ранения. Спаси, Господи, и пронеси! Кстати, сколько вижу тут господ в военных мундирах, а почему они тут, а не там? Говорят, открыли ещё один госпиталь, тех, что есть, уже не хватает, уже кладбища не хватает, так вроде собираются отвести землю под новое, специально для военных. И переполненные рестораны. Жоржик както спросил меня ни с того ни с сего, мол, а мы пойдём в ресторан? Тётушка еле успела прикрыться платком, благо в руках был, чтобы не рассмеяться. И я обомлела. Потом выяснилось, что в корпусе учатся несколько мальчиков из купеческих семей и для них ресторан не есть слово незнакомое. Я хитренько потом у Жоржика выспросила, а знает ли он, что это такое. Он долго думал и сказал, что знает: «Это где цыгане кушают, играют и танцуют». Тогда я его спросила, а, мол, ты что там будешь делать? Жоржик так и не ответил. Вот что значит: слышал звон, да не знаю, где он, и когда в приличное общество попадают из других сословий.

А рестораны полны, и цыгане в них, говорят, озолотились, так много появилось откупщиков, которые зарабатывают на военных поставках.

Кому война, а кому мать родна.

17 марта, вторник

Не писала неделю, не домогала, ходила сонная, и голова кружилась, потому писать было нечего. В воскресенье тётушка ходила на рынок с кухаркой. Скоро Пасха, осталось пять дней. В этом году она ранняя. Мне, как беременной, можно есть и скоромное, но совсем не хочется, а вот подумала, чем будем разговляться, и так всего захотелось! Скоро кончится Пост. Я много всего передумала, много молилась. К тётушке приходит отец Бенедикт, непривычное имя для православного батюшки. Старенький, седенький, умильный. И пахнет от него сладким. Очень хочется назвать его Зосимой, как в «Братьях Карамазовых», я его себе таким и представляла. Молится, слов не слышно, а душевность от него исходит... духовность. Так хочется спросить, кто у меня будет, но боязно. Детки – дело земное всётаки! И обидеть боюсь, знаю, что скажет, мол, кого Бог пошлёт, того и роди и люби. Ещё ходит доктор и акушерка. Это другие люди,

земные. Доктор говорит, что будет девочка, а акушерка шепчет – мальчик. А сама я чувствую, что... но нет, не доверю этого бумаге. Только чувствую, что хватит солдат.

18 марта, среда

Вчера ко мне пришла кухарка. У неё сын моряк на Балтийском флоте, матрос. Кухарка рыдает, мол, давно от сына не было весточки. Тётушка этого мальчика хорошо знает, кухарка Софья много лет служит в доме, и они вдвоём, когда дядюшка почил, провожали его на службу. Так она ко мне с просьбой, мол, вы люди военные и всё знаете, как бы мне, это она просит, разузнать, что там с моим сыночком. А тётушка, я это слышала, а потом догадалась, в это время под дверью стояла и слушала. Иногда они мне кажутся как сёстры, если Софью приодеть. И возраста почти одного, и в одном доме живут уже не один десяток лет. Милая она. И вкусно готовит – пальчики оближешь. И у меня мелькнула мысль, но не знаю, как приступить. Его зовут Андрей Пантелеймонович Сойкин. Тут странное дело, надо бы Аркадию написать, всё забывала, про нашего соседа с Садовой Илью Ивановича Стрельцова. Вот сейчас запишу и тогда не забуду. Перед самым отъездом сюда я встретила Илью Ивановича, и было странно, что он одет в морскую форму. Было мало времени и некогда долго разговаривать, только он обмолвился, что по делам службы переводится в Ревель и будет там служить по морскому ведомству. Как это так получается, я не понимаю, да и моё ли это дело? Может быть, Аркадий сможет его разыскать, и поможем Софьюшке разыскать сына. Делото благое, а какие ещё дела делать в пост Великий, только благие. Сегодня уже не буду, а завтра или на днях Аркадию напишу, да и от него уже долго писем нет, однако и в списках тоже нет. Дайто Бог!

19 марта, Чистый четверг

Вчера дворник ходил виноватый, а предыдущие дни как напился, так старался не показываться на глаза. Знает ведь, напиваться в Великий Пост грех. Однако – бобыль, в руках никто не держит, вот он, видимо, и дал себе слабину. А тут с полночи принялся под Чистый четверг для тётушки баню топить. Она встала до света и меня подняла. Я пошла, так они с Софьей такого пару напустили, что я чуть не задохнулась. В парную звали, но не пошла, а просто умылась с серебра. А уборку все вместе производили, и вот счастье, говорят же, что, если убираться в Чистый четверг, можно найти то, что казалось давно утерянным. Мне было ужасно жалко потерять мамин гребень сандаловый. Ей бабушка подарила, и сколько ему уже лет, а всё ещё запах не выветрился, терпкий такой, пряный, если им расчесать влажные волосы, они до вечера сандалом пахнут, духов не надо. Я стала перебирать вещи, а дворник отодвинул шкаф, и горничная выметала оттуда пыль и вымела гребень. Как же я обрадовалась! Это хорошая примета, не понимаю только, как он туда попал. Я только пришла из бани, скинула с волос полотенце, и вот он – гребень. Обмыла его, хотя комнатная пыль – что в ней? Вот волосы у меня сейчас и пахнут. Буду беречь его как зеницу ока. А вдруг родится девочка, тогда от меня к ней перейдёт. Это и есть счастье! Вещь до времени пропала, а потом нашлась, значит, не потерялась! Вот какая я умная!

Софья сейчас соль жарит и радуется, что не трещит и не шипит, соль. Значит, нет сглазу, и дай Бог!

20 марта. Страстная пятница

Всегда боялась этого дня, с детства. Это же сколько Спаситель всего перенёс за грехи наши. Тётушка ходит во всём чёрном. Ничего не ем, как можно? И голода совсем не испытываю. Завтра должны Жоржика отпустить.

21 марта. Великая суббота

Слава Богу, Жоржика отпустили. Похудел. В корпусе Пост держат строго. Это ничего, надо привыкать, он уже большой. Пристал ко мне, когда поедем в Иерусалим, ему хочется посмотреть, как нисходит Благодатный огонь, меня спрашивал, любопытный. А как нисходит? Так и нисходит, потому что Благодатный.

И смертью смерть поправ! Сохрани нам всем жизнь, Господи!
Пора собираться ко Всенощной!

22 марта. Пасха

Отстояла Всенощную до 3х ночи, как будто бы парила! Так легко было на душе! Такое счастье испытала, и Жоржик был рядом. Это – счастье. Нет только Аркадия.

Разговелись.

Софья наготовила. Я всегда удивлялась, как кухарки и повара, которые начинают готовить, когда Пост ещё не кончился, как им удаётся всё приготовить и ничего скоромного не попробовать. Это какое ангельское терпение надо иметь. А Жоржик вокруг стола извёлся, но тётушка строго присматривала, чтобы не хватал кусков, как она говорит – «не кусошничал». А уж когда сели... Пересказать мочи нет, так всё показалось вкусным. Расстаралась Софьюшка: и гусь печёный, и хохлацкий борщ с чесночными пампушками, и пол свиной головы в винном соусе, и... Хоть снова садись за стол, а Жоржик набрал пирожков с яйцом и рубленным мясом и пошёл угощать, кого – даже не знаю. И пусть его, мальчик растёт добрый. И всё к моему животу присматривается и молчит. Характер! Мужчина! Странно, но весь Великий Пост спала без снов. Или не запомнила ни одного. А во время Всенощной моё дитя внутри меня, будто тоже молилось, вело себя так спокойно. Не знаю, какими надо быть людьми, чтобы не веровать в Бога. Они – безбожники! Одно слово!

23—25е

Визиты! Тётушку знает весь Симбирск, и тётушка знает весь Симбирск. Это не Питер! Сколько же у нас перебывало народу, и к нам и мы. К нам в понедельник только полицейские не зашли. И то у ворот околоточный стоял, так Софья и тётушка и поднесли ему, и с собой дали! Славные люди. И начальник корпуса, и все преподаватели из гимназии, и из городского управления, и земские, и предводитель и даже губернский жандармский начальник. Как там его прелестная жена? Тоже беременная, только ей ещё июля ждать. Славно! Я во вторник много визитов не сделала, а тётушка, та затемно пришла и, помоему, даже выпила! Ну и хорошо! И я бы выпила!

26—28 марта

Моё дитя взбунтовалось. И ножками, и ручками. Дотерпело бы до срока, до конца мая. И я взбунтовалась, то радостно до небес, то на мир смотреть не хочется, поэтому не писала, старалась спать. И сильно болела спина. Сейчас пишу и тоже сплю. Надо подсказать Жоржику, что пора думать о переходных экзаменах, а то в воскресенье было домой не зазвать. Весна!

29 марта, воскресенье

Сегодня было такое, что не записать не могу, хотя и прихварываю.

Сегодня мы гуляли с Жоржиком. Тётушка тоже прихварывает – мигрень, погода нахмурилась и набухла тучами, как бы не со снегом. Но мы с Жоржиком всё же пошли. Софьюшка собиралась, но я попросила её остаться с тётушкой, чтобы не одна. На Венце, как говорят, ещё до войны положили асфальтовую дорожку, прямо вдоль обрыва, и поставили красивую чугунную решётку вместо старой ограды. Снег на чёрном асфальте растаял и тает каждый раз, когда выпадет, поэтому гулять не скользко. От нашей Большой Саратовской это недалеко, только немного вверх до пересечения с Дворцовой, и сейчас не скользко. Над левым берегом Волги

стоял туман, но берег видно. Волга ещё во льду, но лёд уже серый и как будто бы дышит. Но это так кажется, потому что с Венца этого, конечно, не видно, слишком высоко и далеко. Мы с Жоржиком шли по дорожке. Прогуливавшихся было мало. Жоржик всё бегал тудасюда, а я шла прямо, искала, где можно присесть отдохнуть. Тут Жоржик подбегает ко мне и показывает рукою вперёд. Я посмотрела. Мы уже подходили к самому высокому месту Венца, и будто памятник на белом, как снег, жеребце сидит всадник и смотрит через Волгу. Издалека было не видно, кто это такой. Мы пошли к нему, Жоржик ухватился за мою руку. Подошли ближе, на белом арабском жеребце сидел полковник. Только когда мы подошли совсем близко, жеребец стал переступать, тогда полковник поворотил его, и я увидела, что левый рукав у него пустой и заправлен в карман шинели. Я его не знаю, и об этом полковнике никогда не было речи. На жеребце он был высоко, и я не разобрала, какого он полка. Надо расспросить тётушку про этого полковника. Явно он с войны и после ранения. Удивительная фигура, символическая, действительно как памятник. Такие памятники я видела за границей и в Питере памятник Императору Николаю Первому. Однако те из бронзы. А этот – живой. Никогда не забуду этой картины.

30 марта, понедельник

Сегодня радость – пришло письмо от Аркадия!!! Жаль, что Жоржика нет дома. Тем более в его день рождения! Уже больше не буду звать его Жоржиком, он Жорж, Георгий. Георгий Вяземский. Про письмо писать ничего не стану, только то, что цензура вычеркнула, а прочитывать можно. Это счастье – знать, что любимый человек, отец моих детей, жив, хотя оно подписано 8 февраля. Видимо, сильно загружена почта. Прочитали несколько раз, и я и тётушка. Она за своего племянника радуется не меньше, чем я. Как же это горько, когда нету своих деток. Однако это не моя история – есть и, Бог даст, ещё будут. Вот так действует война и разлука. Буду рожать, сколько будет. Сейчас буду писать Аркадию. В этом месяце это будет уже четвёртое письмо.

Апрель

В маленькой комнате адъютант Щербаков писал представления к наградам и передавал их на подпись Вяземскому. Рядом со Щербаковым сидел и попыхивал папиросой ротмистр Дрок. Командиры эскадронов, почти все, уже оставили свои рапортчики и изза малости помещения вышли в ожидании обеда. Дрок постучал пальцем по лежавшей поверх других бумаге, побряхтел, взял и стал прохаживаться по комнате, в которой елееле разместился штаб полка.

– С Розеном, Аркадий Иванович, неувязка получается...

Вяземский отвлёкся и откинулся на спинку крепкого самодельного стула, позаимствованного у хозяина хутора:

– Ваша правда, Евгений Ильич, до этого нелепого случая граф, насколько мне известно, нигде не дал промашку или слабину, а тут... Прямо как черт попутал уважаемого Константина Фёдоровича... я ведь просил его тогда не расстреливать этого германца...

– Германецто, можно сказать, спас нас под Могилевицами, и чёрт бы с ним, отправили бы в тыл... Что на Розена нашло? – сказал Дрок, положил бумагу, и в комнату вошёл ротмистр фон Мекк.

– Присаживайтесь, Василий Карлович, – пригласил его Вяземский.

Мекк сел.

– Вот мы тут рассуждаем, надо ли настаивать перед дивизией о награждении Константина Фёдоровича?

Мекк ответил эмоционально:

– Настаивать, Аркадий Иванович, именно настаивать! А то, что получается, наградами боевых офицеров распоряжаются двор и штабы, а нам что, и слово нельзя высказать? Ну и что, что Розен приказал расстрелять этого немца? Конечно, он был, мягко скажем, не прав, но онто судил чисто порыцарски... Тот штабной писарь, что, вы думаете, он нас спасал? Он шкуру свою спасал, у меня нет сомнений! Я с Константином Фёдоровичем уже сколько лет... войну вместе начинали... И мы должны отдаться на волю штабных?... И надобно так написать и настаивать, чтобы и в дивизии, и выше никто не мог усомниться... Перестраховщики, мать их... Прошу прощения, господа!

– Я согласен! – твёрдо сказал Вяземский, и Дрок кивнул. – Тогда посмотрите, чтобы я чтонибудь не упустил, я к полку всётаки позже присоединился... Я напишу представление, не надо писарям совать нос в офицерские дела. Теперь вахмистры.

– Четвертаков – серебряную с бантом! – сказал Дрок.

– Согласен! – произнёс фон Мекк.

– Непонятная история, господа, как из одного пакета ориентировка не потерялась, а наградная бумага от Шульмана, если верить его же телеграмме, потерялась. Пакет Введенский передал уже вскрытым?

Ротмистры посмотрели на адъютанта Щербакова, тот кивнул:

– Точно так! Времени разбираться, господа, не было, и по самим обстоятельствам ничто не обещало каких бы то ни было неожиданностей: приняли телефонограмму из крепости, пакет с ориентировкой! Мне кажется, тут надо бы поинтересоваться у Введенского...

– Даа! – протянул Дрок. – Та ещё фигура, Константин Фёдорович хотел от него избавиться...

– А что сам Четвертаков? – спросил Вяземский.

Офицеры переглянулись. Фон Мекк постукивал пальцами по коленке.

– Ладно, господа, – Вяземский понял, что на этот вопрос ответа нет, что с Четвертаковым никто не поговорил. – А с Введенским, я думаю, мы исправим положение. Даже в учебной

команде за него всю работу, насколько мне известно, ведёт Жамин. Кстати, что будем решать с Жаминым? – Вяземский оглядел офицеров.

– А что тут решать? Новобранцев он муштрует отменно, тем более – гниловатый народец, а то, что мордобойничает, так им же потом будет легче в бою... – высказался фон Мекк.

– Тяжело в ученье... – задумчиво дополнил Дрок. – А знаете, как они поют?

Вяземский, фон Мекк и адъютант Щербаков с любопытством посмотрели на ротмистра.

– «А ученье, знать – мученье, между прочим, чижало»! Грамотеи! Надо дать ему взбучку, Жамину, а так... вахмистр он исправный! Служака! Я вот что думаю, господа...

Вяземский и фон Мекк слушали.

– Думаю, надо довести до конца то, что начали при Розене, отдельный разведывательный взвод... и набирать из нижних чинов, кто по своим умениям более всего подходит, чтобы пополнять убыль.

– Поручить?..

– Четвертакову!

– Первый взвод Рейнгардта, Евгений Ильич, под вашу команду!

Довольный Дрок кивнул:

– Хорошо, так и сделаем, а сейчас обедать, уже все заждались! Да, запомнил, рапортики по убитым?..

– У меня, – ответил Щербаков. – Сейчас сделаю последнюю сверку, передам отцу Иллариону, чтобы писал похоронные, и можно отправлять в штаб дивизии, только надо определиться с кем.

– Вот Введенского, – подвёл итог Вяземский, – и отправим, может, зацепится!

Палатка офицерского собрания была разбита на опушке небольшой рощи, примыкавшей вплотную к хутору. Офицеры ели стоя, денщики таскали еду от эскадронного котла, этот порядок завёл Вяземский, чтобы есть с драгунами из одного котла. Среди офицеров были недовольные, но они понимали, что на войне это справедливо, и молчали. В постоянных боях первой половины апреля, догоняя непрерывно перемещающийся полк, отставали обозы, довольствоваться приходилось местными возможностями, однако полковой денежный ящик не был пуст.

Клешня сновал с бачками и раскладывал пищу по купленным новым тарелкам, разливал по кружкам чай. За хрустальный стакан Вяземский устроил ему приличный нагоняй и велел пить из него самому. Для Клешни это было обидно, и он думал, кому бы отдать, а потом придумал, что пройдёт время, и Вяземский смягчится.

Когда денщики удалились, Вяземский объявил, что в дивизию с документами поедет Введенский. Тот вздрогнул, и неожиданно заговорил отец Илларион:

– Господин подполковник, а мне позволено будет съездить по моим делам в дивизию?

Взоры офицеров обратились к нему.

– Мне надо попросить коечто, чтобы привезли из тыла.

– И охрана у вас будет вполне приличная, – вдруг съязвил поручик Рейнгардт. Это была явная дерзость, направленная против Введенского. Введенский побледнел и поставил кружку на стол.

Вяземский бросил строгий взгляд на Рейнгардта и во избежание конфликта произнёс:

Конец ознакомительного фрагмента.

Текст предоставлен ООО «Литрес».

Прочитайте эту книгу целиком, [купив полную легальную версию](#) на Литрес.

Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.